Современная калининградская литература

Солнечный удар

…Как дико, страшно всё будничное, обычное, когда сердце поражено, — да, поражено, он теперь понимал это, — этим страшным «солнечным ударом», слишком большой любовью, слишком большим счастьем! Он взглянул на чету новобрачных… перевёл глаза на портрет какой-то хорошенькой и задорной барышни… Потом, томясь мучительной завистью ко всем этим неизвестным ему, не страдающим людям, стал напряжённо смотреть вдоль улицы.
— Куда идти? Что делать?

Иван Бунин «Солнечный удар»

Современная калининградская литература

Солнечный удар

МУЗЕЙ ЯНТАРЯ
КАЛИНИНГРАД

УДК 882:82-1(470.26)
ББК 83.3(2Рос=Рус)6
С 601

Редакционная коллегия

Татьяна Суворова, директор Калининградского музея янтаря, автор идеи
Игорь Белов, заместитель председателя Калининградской писательской организации, автор, составитель сборника
Сергей Михайлов, автор, составитель сборника
Татьяна Макеева, редактор отдела информации Калининградского музея янтаря

С 601
Солнечный удар. Современная калининградская литература. — Калининград: Калининградский областной музей янтаря, 2011. — 272 с.: ил. — 500 экз. — ISBN 978-5-903920-13-6

Книга «Солнечный удар» издаётся в преддверии областного музыкально-поэтического фестиваля, который состоится летом 2012 года. Калининградский музей янтаря продолжает начатую в 2005 году традицию публикации художественных произведений авторов «янтарного края». Это второй сборник, который музей издаёт совместно с региональным отделением Союза российских писателей. В сборнике представлены поэтические произведения и проза молодых и уже известных калининградских литераторов.

Издание реализовано в рамках областной целевой программы «Развитие янтарной отрасли в Калининградской области на 2007–2011 годы», подпрограммы «Развитие Государственного учреждения культуры «Калининградский областной музей янтаря» и культурно-образовательного сектора янтарной отрасли в 2007–2011 годах».

В тексте сохранены авторская орфография и пунктуация.

ISBN 978-5-903920-13-6

УДК 882:82-1(470.26)
ББК 83.3(2Рос=Рус)6
С 601

© Государственное учреждение культуры «Калининградский областной музей янтаря», 2011
© Авторы, 2011

Содержание

Андрей Тозик....9
Александра Артамонова....23
Анна Новицкая....39
Павел Настин....47
Олег Глушкин....61
Елена Георгиевская....75
Евгения Лаптева....89
Лада Викторова....97
Борис Бартфельд....111
Ирина Максимова....121
Вячеслав Карпенко....133
Игорь Белов....147
Наталья Антонова....159
Анастасия Кирсанова....175
Надежда Исаева....187
Сергей Михайлов....195
Наталья Горбачёва....207
Ольга Яковлева....217
Алекс Гарридо....229
Константин Давыдов-Тищенко....243
Сэм Симкин....257

Вступление

Антологией современной калининградской литературы «Солнечный удар» Музей янтаря продолжает начатую в 2005 году традицию публикации художественных произведений калининградских авторов. Это второй сборник, который музей издаёт совместно с региональным отделением Союза российских писателей и кураторами проекта Игорем Беловым и Сергеем Михайловым.

Прошло пять лет. Что изменилось в калининградской литературе? Какой предстаёт картина мира в образном восприятии калининградских авторов? Появились ли новые имена?

Тема нового сборника — художник в современном мире — напрямую не соотносится с янтарём, но опосредованно такая связь существует. Янтарь — уникальный минерал, порождающий богатые художественно-поэтические интерпретации его разнообразных свойств, его «содержания», вдохновляющий мастеров слова. Первые произведения, посвящённые янтарю, дошли до нас со времён эпохи античности: Древняя Греция оставила миру миф о Фаэтоне и упоминания о балтийском самоцвете в поэме Гомера «Одиссея» (8 в. до н. э.). Янтарь — художественный образ и герой литературных произведений разных времён и народов вплоть до наших дней.

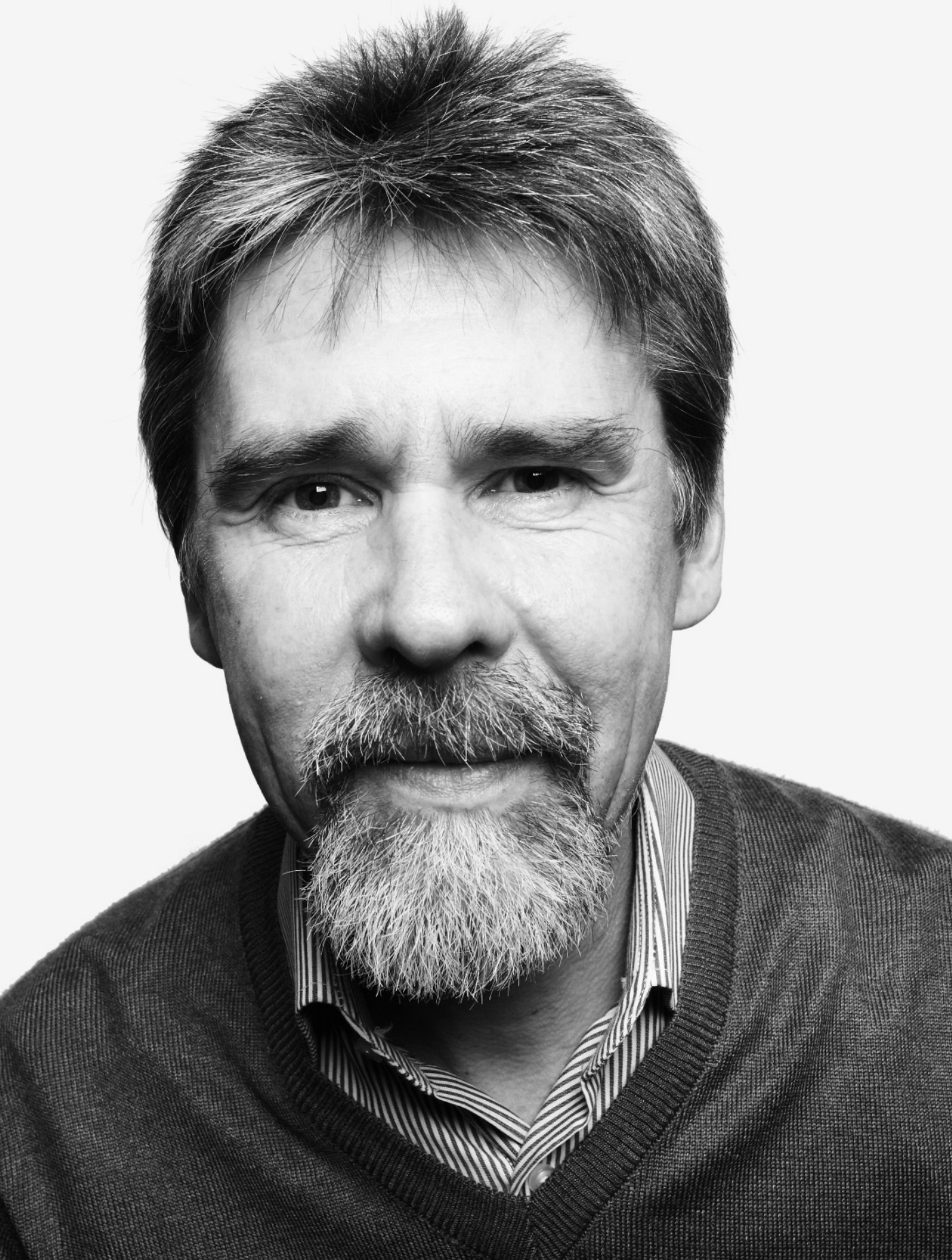
Созданный природой балтийский самоцвет и художественные творения человека о янтаре сосуществуют на протяжении многих тысячелетий. Именно поэтому Музей янтаря литературу «земли янтарной» включает в сферу своей деятельности.

В сборнике представлены поэтические произведения и проза молодых и уже известных калининградских литераторов, всего — 21 автор.

«Солнечный удар» — как и «солнечный камень» — это своего рода призма вдохновения, через которую художник приобщается к многовековой культурной традиции и познаёт современный ему мир. И мир этот отражён в литературных произведениях калининградцев, словно в капле застывшей древесной смолы.

Книга издаётся в преддверии областного музыкально-поэтического фестиваля, который состоится летом 2012 года.

Татьяна Суворова,
директор Калининградского
музея янтаря



Андрей Тозик

Родился в 1959 в Сибири. Поэт, художник. Член Союза российских писателей и Творческого союза художников России. Книги: «Река без имени» (1996), «Территория» (2008). Публикации: сборники «Солнечное сплетение» (2004), «Антология калининградской поэзии» (2005), «Дети бездомных ночей» (2006), журналы и альманахи «Запад России», «Насекомое», «Параллели», «Воздух», «Signal» (Югославия), «Стетоскоп» (Франция), «Черновик» (США), «Polartis» (Австралия).

Инклюза

Памяти Е. Градинаровой

1

инклюза — в подарок —

бабочка в янтаре
бабочка в январе
одинокая бабочка
две тыщи девятого года от рожденья Христова
в апреле
бабочка

на грани света и холода

2

— обнажить сущность камня —
солнцем рождённый —
морскою волною балтийским штормом
на берег выброшен
к рукам человечьим отныне навечно

как память

3

хрупкая бабочка —
тень силуэт контур
на фоне внутри
воздух солнце вода
зеленоградские пляжи

4

память откажет
янтарь сохранит

Из цикла *save as...*

***

а ночью приходят
и мысли и строчки
(машинально рука ищет спички)
и человеки —
знакомые — близкие — те, кто —

иные пьют чай кто-то
водочку кто-то
просто так посидит — поглядит —
(чаще — молча) —

не всегда-то и ласково —
слова не скажет —
(всё-то ты понимаешь) —
и так — до рассвета —

До нашего света.

***

...приходит впотьмах
и на ощупь находит —
и — хочешь не хочешь —
лежит, вспоминает —

уходит — не скрипнув —
и спичкой не вспыхнув —
а хочет — и крикнуть —
и выкрикнуть — пить! —

Пожалуй, что — выпить.

И закурить.

***

кукушка кукушка
монорифма твоя и бедна
и полна
чем-то большим
чем — не знаешь сама

так добравшись до дна
не уверен что выплывешь и рука
в море нашем
особенно
тебе будет верна

а что репутация
незавидна

тоже — верно

***

...не себе доверяю —
но только —
рифме случайной —

судьбе...

***

отдельно — ложки вилки
и ножи — и та, которая —
и ту, которой —

всё по порядку разложить —
расставить — по их законным
стало быть — местам —

и то — что можно — здесь —
и что возможно — там...

***

были: Саша Наташа —
красавица наша —
а также Алёна — знакомы с пелёнок —
сидели как водится выпивали —
и беседы вели — то да сё — трали-вали —
о Джойсе о Кафке —
кто споёт кто нальёт —

а потом я ушёл от них к Вале —
которая всем даёт

***

...о, как мы жили —
вдвоём — одиноко —

как она мне кричала —
нет, ты не Джон! —

а я успокаивал —
ты — не Йоко...

***

сохрани его память как
листок — лепесток — звук —
образец почерка —
словно кардиограмму — выписку
из болезни истории где
что-то важное (доброе нежное) —
как всегда —
между строк — или — прочерк —

Скорый поезд.
Без остановок.

Везде.

***

все врут — календари часы
и гороскопы —
и тропы
нанесённые на картах
топографических —
приманка для шпионов —
и миллионов —

сам частенько вру —
и даже просыпаясь — поутру —
я говорю — люблю —
метафорически —
зачем не понимаю — говорю...

***

...зато какая непосредственная жизнь!

Да, не по средствам.
Даже средств не выбирая.

***

...кричал — а к чёрту всё! — и — надоело! —
...а в доме даже спичек-то не оказалось...
...и лампочка — такое, знаешь, дело —
гореть устала — и —

перегорела

***

...а врачи и поэты
говорят не стесняясь —

режут как по живому —
а бывает — не как —

а бывает — никак ...

***

— и действо было — не побег —
но только — бегство —

себя от прочих отлучив —
скитаться — лучше? —

в провинциях души —
и на окраине —

в окалине — цвет ржавчины —
как будто

душа вдруг оказалась — из металла —
была сотворена

Иль не была?

***

1

и вот —
мир чёрно-белых фоток —
фотографий —

война и мир

2

— и узкий круг
любимых и друзей —

точнее говоря —
любимой, друга...

3

и хлеба — зрелищ —
не хватает —
и — любви —

а ты — живи? —

***

здравствуй, время черновиков! —
наступает
конец гладко скроенным строчкам —
рубаху
на груди раздираешь —
(а носить да носить!) —
пьяно плачешь —
и старые фотографии
достаёшь из альбома — где — лица —

так и не научился
ни жить ни просить

ни молиться

***

пока решение не принято — другими —
сиди и жди

а чтой-то впереди блестит — сверкает —
по-новогоднему — цветными —
огоньками?
сиди и жди

а как хотелось — да хотя бы угольками —
вчерашними —
но — подогреть пространство —

сиди и жди

***

друг мой — ясно вижу — понимаю —
начинает портиться характер —
может — не хватает в рационе —
витаминов — или — моциона? —

или — это что-то возрастное? —
сердце впрочем равномерно бьётся —
своевременно — стучит и замирает —
всё как прежде —

А чего-то не хватает.

***

...и — вот такое нахальство —
всё кричу — мол, огня мне, огня! —

и ещё — не люблю никакого начальства —
и оно почему-то не любит меня...

***

...помнишь больше
чем можешь сказать
и другим — и себе самому —
наедине находясь —
в трезвом возрасте
пониманий —
уже ничего не боясь —

Не возвращаясь.

Из цикла *точка молчание*

***

— ей почти сотня лет
и видит она плоховато
то бишь зренья практически у неё нет
но зато у неё превосходная память
на фамилии лица и числа и даты
нелюбимая тема солдаты
её дочери вышли замуж за них она верит
она всё ещё думает ей говорят как положено их украли
но она не припомнит ни стука копыт
ни звона монет
ей почти сотня лет
у неё как положено коврик лежит
она молится вовремя
у неё есть ответ
и она говорит бог всё знает
а мы — нет —

***

...не бояться рифмы
кровь — любовь —

и любить не бояться

Вообще — не бояться

Любить.

***

виски есть виски
портвейн есть портвейн
и вместе им не сойтись
.....

он сидит на красивом своём холме
слишком красноречив
он не нравится мне
.....

а за водочкой вслед
мы запустим пивка
.....

жизнь прекрасна но
коротка

***

воплощая собой
дребезжащий звук
напоминающий о синтезаторе MOOG —
я восклицаю —
о, здравствуйте, горько-сладкие
воспоминанья! —
простите — прощайте! —

ибо я замедляю время вокруг
чтобы двигаться дальше и дальше и дальше и дальше и дальше
в направлении к слову
ВДРУГ

***

Идеальные формы.
К примеру —
квадрат или круг — и — вещи
временем тронутые — траченые — не счесть! —
испорченные —
онемевшие плёнки эры
магнитофонно-бобинной — *тип 6* —
и нелепые *бигуди* —

как *ревнитель бренности* —
я всё-таки голосую за
хорошее отношение к лошадям
хотя некоторые предпочитают
портрет Че Гевары
у себя на груди

***

...а земля прирастает
небесными метеоритами —
андреями аннами маргаритами —
и — *еленой* —
земля увеличивает свой вес —

свою значимость во вселенной —
и костей моих слов
сотня грамм — эка малость! —
тоже не помешают —
впереди ещё вечность —

Где шляпы снимают.

***

формат — *квадрат*

не форма — представление о чём-то —
что нечто большее чем то что —

как *прощайте*

***

обитатели гор — небожители —
по облакам — босиком —
не проваливаясь —
ничего не боясь —
ничего-то не зная
о жизни — долинной —
когда — очи — *долу* —
когда — под ногами —
не воздух но —
грязь

***

...и я ушёл не солоно хлебавши —
откуда знать им было —
жравшим пившим —
я — тоже — денежный мешок — но —

опустевший...

***

— *длится* день —
без повода *для* —
— собака без имени просто собака без поводка без
хозяина откликается на
имя *собака* —
закон сохранения то ли материи то ли энергии то ли

звука *однако*
— перо в руке дрожать не устаёт
а ты дурак — не устаёшь об этом
думать —
скопленье
простейших частиц распадание на
организма
вроде
оргазма
— самый правильный взгляд на вещи —
искоса издалека случайно —
теория относительности не врёт —
ты пьёшь горькую месяц неделю —

Проходит год.

***

глухие согласные —
гласные — тоже — не против —

но — огласите списки не стрелявших —
вы — трибуналы —
по-военному — закрытые —

нет, из двадцатого не выбраться мне века —
там столько со*кров*енного со*крыто* —

Не хватит звуков.

***

осенним лесом пустоты не удержать
не знаю я как ты я называю
все эти дни — *ненастными* — меня
становится всё меньше
меньше
меньше
и только мельница взмахнёт *руками*
красными

а рук иных и вовсе не разжать

Александра Артамонова

Родилась в 1987 в г. Калининграде. Участник проекта «Балтославия» (2007). Публикации: сборники «Новые писатели» и «Балтийская тетрадь» (оба — Москва, 2010), журнал «Параллели».

Папка с гербарием

Почему день длиннее ночи?
Отчего крапива жжётся?
Какой фильм у тебя любимый?
А цветы?
А цвет?
А глаза у тебя карие, да?
Сколько ты можешь не дышать под водой?
Сколько тебе лет?
Сорок?
А мне шесть с половиной.
Почемучкин возраст. Две недели до школы. Самое лето для вопросов.

Они едут за город: отец и сын.

Ему сорок лет, и он ворчит, как старик, и носит шорты, и его узнают на улице, в очереди за билетами, в вагоне электрички ему кивают разные люди — женщина с вязанием, тётка с газетой, бабушка с внучкой.

А как их зовут? Ты знаешь?

Нет, я не знаю. Ты называй их, как хочешь. Вон, женщину с вязанием назови Спицыной или Клубковой, та, которая читает, пусть будет Газетиной, а та женщина, которая продала нам билеты и расписание, — Стародымова, я точно знаю, это написано на билете.

А это кто?

Кто-кто, дед Пихто.

С прогулочным великом, в старых тренировочных идёт курить в тамбур.

А это кто?

А это Алиса. Здравствуйте, Алиса.

И у женщины, присевшей напротив, краснеет, как после удара, щека. Она улыбается: «Вы опять ошиблись. Я Аня».

Она убирает волосы с глаз, ставит рядом на лавку корзину, накрытую платком, там что-то шевелится, она пододвигает ближе, прикрывает ладонями зелёные от травы джинсовые коленки. Мальчик тянется к корзинке, и Аня: «Ничего, ничего, посмотри, только не доставай, а то напугается», и отворачивает платок. Он наклонился в решётчатый полумрак — поезд въехал в тоннель — и сразу всё разглядел, и белые лохматые шапки клевера, но прежде всего прижатые уши, блестящие глаза, гладкий нос и «т-т-т-т-т-т-т-т-т», исчезла травинка. Мальчик погладил зайца раз, ещё, «не бойся, я не вытащу тебя за уши, ты такой хороший, па, давай заведём такого же».

Аня вышла через одну. Мелкий ничего не запомнил, кроме неровной чёлки, перепачканных джинсов и зайца в корзинке.

Кто эта девушка?

Моя знакомая.

Аня поднималась вверх по улице со станции, она не могла посмотреть в их сторону.

Всё животные и животные, и голубая тенниска, как пять лет назад, и оторванная пуговица, и как не понятно, что путаю имена специально, чтобы не

забыть — выходной день, воскресенье, погода плохая, домой не надо — все у бабушки; сперва по телевизору показали «Умников и умниц», и снова уснул, а когда проснулся, попал на мультик про Алису, и Аня пришла после парикмахерской с новой стрижкой — ровная чёлка до бровей, и стала так похожа на девочку из мультика и ещё на старшую дочь.... И не надо ничего больше вспоминать — её дом стоит в середине улицы, номер записан в записной книжке с плесневым пятном на обложке, — звонить, когда захочется, но не хочется, чтобы все эти мелочи — стопка выглаженного белья, корзинка — перевесили бор с соснами, облака над деревьями, вас двоих и меня с газеткой, так легко, так нечестно, как тогда во дворе...

Подошёл к качелям — мелкий болтал ногами, никак не получалось сделать так, чтобы сестра заслонила собой дом и солнце, — и сразу, на мгновенье, одной рукой уравновесил дочь и сына. А потом... Деревянное сиденье взрыло песок. Дочь фыркнула: «Ну и гуляй с ним сам», и пошла со двора, немного косолапя, показывая на ещё не стёртой подмётке оранжевую июньскую метку — ценник из сапожной — и прижимая к груди такого же зайца, и без разницы, что был он напечатан в учебнике биологии, в разрезе и так просто, в зимней шубе и в шубе летней, в лесу и в поле, и на соседних страницах — рацион питания и другие звери, со сложными вторыми названиями на латыни, в которых сразу слышалась порода.

Дочь в то лето поступала на биологический, цвели люпины — болела голова, недочитанная глава была заложена подорожником, мелкий просился в зоопарк, скакал на одной ноге, и на столе осыпался букет, а Анина тенниска к вечеру пахла зверьём, и какая-то птица за её окном ближе к семи вечера кричала «уйди-уйди».

Я тебе позвоню, если что. Если скажут, завтра мы не работаем. Если дочь не придёт ночевать. Если мама скажет, дай заберу малыша, и тогда дочь точно не придёт ночевать, и тогда я тебе позвоню, и ближе к полуночи уличный фонарь вытащит меня из июньской тьмы на твоё крыльцо, и какая-то птица скажет «ух».

До леса оставалось две остановки. Больше к ним никто не подсаживался. На соседнем сиденье остались травинки, и он перевязал безымянный палец зелёной лентой осоки.

Сын спросил ещё про зайцев, и он рассказал ему, что так называют безбилетников. Объявили Стрельню, они вышли: «Да, так ещё называют безбилетников, потому что они трусят и так же быстро бегают...», но сын уже нетерпеливо подпрыгивал, зажимал рот шерстяной ладонью: «Тише-тише, не спугни, посмотри, вон там». В первом вагоне мелькнуло что-то беленькое, хвост или край платья.

Долго нам ещё идти?

Нет, вон наша полянка, вон наше дерево. Стели одеяло здесь, но не так близко к той компании. Нам здесь будет очень хорошо.

Для чего эти поездки за город?

Чтобы быть ближе к природе, дышать свежим воздухом, собирать грибы и ягоды — я называю такие простые вещи. Чтобы лежать вот так и смотреть

на облака над соснами. Вот так, чтобы на сгибе от локтя до плеча отпечатались все растения, встречающиеся на этом квадрате земли… И в щёку, дай мне платок оттереть, въелись песчинки, как порох от волейбольного мяча, разорвавшегося совсем рядом с лицом, недалеко от лица, под ухом.

Для чего эта «коника», дешёвые батарейки, плёнка на двадцать четыре кадра?

И для чего мы фотографируемся на этой лужайке под этим деревом с этим термосом, так улыбаясь?

Для памяти. Чтобы те, кто посмотрит, сказали, у вас всё хорошо, вы так много времени проводите на воздухе. Чтобы, посмотрев на меня, сказали «ты с каждым летом всё старше и старше и похож на футбольного судью в этих шортах». А о тебе — «ты так похож на отца лицом и пока так мал», что можешь спрятаться за любым деревом, и ещё много лет пройдёт до того, когда той девушке, что будет снимать тебя на природе, придётся отходить дальше и дальше, чтобы ты наконец поместился в кадре и снова стал маленькой тонкой фигуркой в свободной футболке.

Вот шаг, шаг, ещё десять шагов, больше некуда отступать — там начинается лес. Вот ты на опушке жмуришься от яркого света, прикрываешь глаза узкой ладонью, и кадр выходит почти что белым, а на середине следующего рвётся плёнка, в неровном прямоугольнике света остаётся девушка с банкой ягод и в платье, сползшем с плеча, и тогда вообще наступает солнечное затмение.

Они возвращаются домой затемно, на последней электричке.

На перрон выходит лысый мужчина в мятых шортах с охапкой цветов, с рюкзаком за спиной.

Какая-то заспанная девушка прижимает к груди полиэтиленовый пакет. Она ёжится, чешет ногу — под коленкой до сих пор зудит от крапивы, голова идёт кругом, банка с ягодами тянет плечо, хотя легче лёгкого, а малиновый подтёк на стеклянном боку как набухшая царапина на шее мужчины впереди. Её никто не встретил. Она застёгивает на все пуговицы кофту, фонарь выхватывает с рукава пару цветков, похожих на пионы, она нюхает рукав — сильно пахнет дымом. Девушка закрывает глаза, ей хочется спать, она силится не плакать.

Последним из вагона выпрыгивает мальчишка с сачком. Он в папином свитере: рукава достают до колен и подвязаны узлом, растянутое горло соскальзывает с плеча, но какой узор на груди — орёл расправляет крылья и достаёт до детских острых лопаток и держит в когтях зайца, но не насмерть, а так, чтобы бережно, не повредив, не оцарапав, донести до дома. Зайчик, зайчик, поджатые лапки, пара великолепных ушей, зажмуренные глаза, тёплая шерсть торчком на хребте — да, бывают в конце лета такие зябкие вечера… Вот и попался, который кусался, который хрустел травинкой, в кустах притаился, напугался взрослых шагов, собачьего лая, осочьего крика, контролёров на отдыхе. Теперь держись, не трусь, немного осталось.

Девушка спрашивает, можно ли пойти пока с вами, до освещённой улицы?

С вокзала они идут все вместе. До дома остаётся перейти мост, пройти одной улицей, зайти в сонный двор, кутающийся в забытое на бельевой верёвке одеяло, слепо стряхивающий со складок старика с собакой и этих — да, мужик обязательно грохнет дверью, залает пес, хлопнется лист штукатурки, заморгает на белёной стене бабочка, но пока можно спать, они только идут со станции по мосту.

И вот мальчик отстал на шаг, на два, на десять, вот вообще остановился, отвернулся, он не видит светлых шорт отца, ни его спины, и крикнул вслед: «Эй, подождите!», но не удивился неожиданной громкости голоса. Он щурится на рой мошкары под фонарём, целится и — раз! — хватает сачком будто истыканный простым карандашом, пока не сломался, столп холодного электрического света, но промахивается и вместо этого зачерпывает только ночной рыхлый августовский воздух.

Сачок тяжелеет. Мальчик устало прислоняется к перилам, выдыхает по очереди белку, лисицу, заглядывает в сачок. Там темно, но глаза быстро привыкают. Становится ещё темнее — подходит отец.

Что там у тебя? Да ты спишь на ходу.

Отцовская футболка пахнет зелёным от рукава до горла. Мальчик перечисляет всех животных, которых когда-то видел. Хотел добавить ежа, но закашлялся, и ёж сам выкатился изо рта колючим паром.

А зайцев так и не видели…

А ты думал, что все звери выйдут тебе навстречу?

И он хотел было рассказать, как сегодня почти увидел зайца, там, рядом с лужайкой, когда пошёл гулять, но спугнула собака, и заяц оказался просто смазанной кривой, мешаниной из веток и трав, и поэтому пробормотал: «А как называются все твои цветочки?»

И хотя мальчишка давно уснул, и от тепла детской щеки и от пущенной во сне слюны потекла краска на футболке — завтра скажут, что выгорела, — он идёт пустой улицей и вслух, с каждым шагом всё тише и тише, повторяет: медуница, овсяник, клевер, мятлик, заячья капустка, мышиный горошек, иван-чай, выручай…

Марс

Вот из этих кустов мать месяц назад спугнула куропатку.

Вот с этой сливы он снял капельку смолы и пожевал, как Том Сойер.

Закопать на восемь лет — будет янтарь, да?

А калитку покрасили, пока его не было.

Вот тут отец щелком сбросил с его шеи клеща. А оказалось, что это не клещ, а паук с белым брюшком.

Вот, в конце мая они шли с озера уже в темноте и остановились у ворот. Вон там Марс, видишь, — показал отец, а он хотел спать и соврал, что видит. В небе белым пауком плыл спутник.

Вот отсюда Анджей кинул в него комком земли и угодил точно между лопаток…

Анджея привёз отец. Раньше они вместе возили водку и сигареты, а потом отец занялся шоколадом, а Анджей бананами. До этого они пару раз виделись в Эльблонге и прошлой весной ночевали у него в Гдыне.

Тогда они всей семьёй поселились здесь, в двух часах езды от польской границы. Рядом с их домом останавливался международный автобус, в нём они и поехали первый раз за границу к Анджею. В автобусе пахло жжёной резиной, а коридор той квартирки, где они остановились, был заставлен ящиками, ящиками, ящиками… Тогда ему постелили на узкой пружинистой кровати брата Анджея, дали колючее солдатское одеяло, завёрнутое в льняную простыню. Одеяло всю ночь вылезало и кусало за голые руки, плечи, ноги, особенно доставалось спине и животу. Кровать скрипела, стоило повернуться, а младший брат Анджея, проспавший с матерью, клевал дверь в семь утра, заходил и стрекотал сорокой, стягивая это самое одеяло, — ему было интересно, что это за чужой мальчик на его месте спит.

Отец сказал, что в Польшу Анджею пока нельзя, его там сразу убьют.

И с тех пор, когда было невозможно уснуть от жары и собачьего лая, он представлял себе ночью на улице, светлой от жасмина, Анджея, спускающегося быстрым шагом в цветущий душистым запахом двор. Он шёл, немного запинаясь, и спортивная сумка на слишком длинной лямке била его под коленку, а за ним по кустам бесшумно следил кто-то, дожидаясь только одного — когда наконец войдёт в кольцо электрического уличного света этот мужчина в синтепоновой куртке.

Такие куртки никто летом и не носит, а он в такой приехал. Она была засалена на локтях и у горла, и мать, стирая её, вылила ведро грязной бурой воды. Куртка тяжело провисла на бельевой верёвке, но к обеду уже махала рукавами — а вот и я, пан Анджей.

Анджей спал в отцовой рубахе на диване в кухне, и по его лицу пробегала серая кружевная тень от занавески. По утрам пил кофе и не мог напиться. У него немного дрожали руки, и он всегда просыпал ложку-другую. И тогда чёрные муравьи кружили в лужице кипятка, норовя утащить в сад кружку вместе с куском размокшего сахара.

После завтрака они ходили на огород. Копали, пололи, поливали. Твёрдые комья земли рассыпались в прах от одного удара тяпкой. Раз вместе с белыми корнями молочая добыл черепок и тонкую ручку от чашки. Анджей курил, а он сидел на ведре с сорной травой и разглядывал в фарфоровое ушко свои заношенные джинсовые коленки, пыльные носки гармошкой, тряпичные кеды — по шнурку полз муравей, — расцарапанную в малиннике руку и волосы по ней, особенно белые у кисти. Потом прищурился и поймал тополь, бросающий тень на участок и на Анджея. Тот по-прежнему курил, и рубашка на его спине шла волнами. Анджей выпрямился, крикнул: работаем-работаем, и лопатой всполошил муравьиное царство.

Потом наступила жара. Пару раз они ездили к границе за шоколадом втроём. Тогда Анджей носил коробки и всегда садился вперёд, пристёгивался, открывал окно, говорил: «Ад».

Они ехали по шоссе, отец за рулём, Анджей на переднем сиденье, а он сзади. И он высовывал руку в окно, и июль тысячей песчинок хватал ниже локтя — мол, оставайся, попроси, чтобы остановили, выйди здесь, пока не проехали эти мелкие озёра, едва не пересохшие от жары, научишься плавать, обсохнешь без полотенца, тебя заберут на обратном пути. Потом, дома, он снимал футболку, и там, где начинался рукав, кожа была белее. А один раз они зашли в магазин с гуманитарной одеждой и накупили целый мешок разных тряпок.

Майки известной фирмы за бесценок, плащ, прожжённый в нескольких местах, но так совсем новый, пожелтевшее кимоно для борьбы, байковая серая кофта с капюшоном и на молнии. Пока отец мерял плащ, он вспомнил, как в начале мая ходил с мамой в гуманитарку рядом с её работой — она тогда набрала этих фирменных маек, а одна была на пуговицах и запуталась в волосах, и она позвала его из раздевалки на помощь. Раздевалка была тесной, и он не сразу узнал в треснувшем зеркале мамин поджатый живот, согнутую спину, грудь, прикрытую рукой. Лето будет помнить, не забудет, как она позвала его жалобно. Майка оказалась ей мала, и другие тоже не подошли, и он отнёс обратно стопку цветных тряпочек. Мама заплатила только за эту серую, с пуговицами у горла, висевшую на волоске. Теперь он только её и носит.

Анджей выбрал себе солнечные очки в тяжёлой оправе. На сдачу им дали мешок аудиокассет, и всю дорогу Анджей ставил одну за другой: а тут Джексон! а тут Гершвин!

Утром кимоно отчаянно било июльский воздух, но к полудню жара заломила ему рукава, тряхануло как следует, и оно, покорно обмякнув, соскользнуло на землю. Анджей поднял его с травы и отнёс в дом. За несколько дней у него загорело лицо. Он был всегда чем-то занят. Вот снял бельё с верёвок, вот понёс на огород вёдра с водой, и на тропинке, обернувшись, сказал: «Я бы на твоём месте поехал на море не раздумывая», и расплескал себе на башмаки.

Анджей уехал через две недели. Теперь уже можно, теперь не опасно, говорил отец, заводя машину. Отец отвёз Анджея к границе. Синтепоновая куртка легко поместилась в пакет, он видел, как отец положил сверху несколько шоколадок — на дорогу.

Теперь они ездили к границе вдвоём. Останавливались у мелких озёр — он учился плавать, отходил подальше от берега, складывал руки лодочкой, отталкивался ногами, пару секунд держался, беспорядочно молотя руками, но потом коленками упирался в мягкое песчаное дно. Однажды всё вышло как-то само собой, спокойно и легко, под мышками словно ожила вода — он радостно запрокинул голову, заорал: плыву! И тут же нахлебался.

Потом он всё-таки поехал в лагерь на море, и там ему не понравились общая умывалка, невкусная еда в лёгкой посуде, скрипучая кровать, ржавые краны с чересчур пресной водой. О такой кран он разбил губы, когда напился в первый день.

Перед отъездом домой он с другом собирал по склонам шиповник. В автобусе он положил на колени узелок — хлопчатобумажную сумку, полную шиповника, и уснул. Ныла заноза, он ещё попытался по привычке представить Анджея на жасминовой улице, но вместо этого всплыла картинка из Эльблонга: вот они с отцом в порту, вот Анджей приехал на мотоцикле и с ним худая девушка в майке с рок-певцом. Анджей что-то забрал у отца, и они целый день гуляли по Эльблонгу, ели картошку из бумажных пакетов. Та ракета, на которой они приплыли в Польшу и потом уплыли обратно, называлась «Байкал».

На автовокзале его встретил отец. Вроде ничего не изменилось, а вокзал за две недели побелили, и глазам было больно от яркого света. На отце была незнакомая рубашка. А Анджея уже не было.

В машине кисло мокрое полотенце, в целлофановом пакетике лежало несколько цветных книжечек — паспорт, ещё один паспорт, права, какое-то удостоверение. По русскому паспорту Анджея звали Андреем, по другим документам Игорем, Сергеем, Иваном. Но возраст стоял везде один и тот же — было ему в то лето двадцать семь лет. И лицо — одно и то же, такой обычный студент, документное фото со светлым углом — высокие скулы, тёмные глаза, серьга в ухе, ничего общего с тем, каким его нашли июльским утром в кустах на пустыре за свалкой в Гданьске.

...А когда они поливали огород, Анджей зачерпнул из ведра воды умыться, и в отражении задробились его веснушки и родинки, поплыли брови и губы, разбился нос...

Его было тяжело узнать, сказал отец.

Его укачало, и отец остановил на мосту. Он облокотился на перила, подышал — стало легче. На груди пролегла толстая ржавая полоска.

В машине он до упора открыл окно и не стал пристёгиваться. Отец было покрутил ручку приёмника — тут уже ловило радио, но он остановил его и попросил, а раньше стеснялся, па, давай лучше Гершвина, и нажал на «плей». День еле плёлся от жары к августу, вяз в расплавленном асфальте, когда голосовал на шоссе; срезал путь щавелевым полем, оставляя еле видную тропинку жёсткой примятой травы, которая поднималась уже на следующий день. Река текла магнитофонной лентой, петляла в полях и была склеена в самых тонких местах мостом и дамбой.

...Перед отъездом Анджея они пошли купаться вдвоём. Анджей плавал, а он сидел на берегу, ждал и смотрел на белое пятно спины в тёплой мутной воде. И тогда река была просто рекой, а магнитофонными лентами были водоросли — широкие и зелёные в воде, узкие, ссохшиеся чёрным клубком на пляже. И если их скатать в тугую катушку и прокрутить, то вышла бы всё одна песенка, которую он сам записал однажды ночью на свою первую кассету и которая потом отчаянно рвалась из всех приёмников. И он склеивал так часто, что куплет стал перескакивать на припев, но смысл не менялся — зарос крапивой спуск к реке, вывелись птенцы в развилке ясеня, девушки стали ещё красивее, а лету всё нет конца. Анджей вынырнул у свай моста, стал взбираться по илистым ступенькам, но соскользнул в воду. Уже с берега Анджей прополоскал рубашку — в воде она надулась голубым пузырём — и, точно неводом, поймал малька, кувшинку и своё темное лицо, заслонившее диск солнца и самолёт.

Из машины он забрал полотенце и пошёл закрывать ворота.

А калитку покрасили, пока его не было....

Потрогал — в остывающем железе ещё гудел июльский день. Отдавая темноте собранное за день тепло, высоко отзывались телеграфные столбы, и тонко звенела мошкара над чёрными кустами. И хотелось швырнуть сырой белый ком в махровые кусты у забора, чтобы одним броском обломать тонкие ветки, накрыть этот невыносимый гудёж и пойти спать до утра в тишине и покое.

...В том лагере, где он неделю проревел один на панцирной кровати, отвернувшись к стене, дни были наполнены таким же гулом. То физрук Палыч косил вдоль заборов траву газонокосилкой, то целый день летали самолёты — рядом было лётное поле, то был сильный ветер, и волны бились в бетонный подъём, и умывальник гудел, будто морская раковина. А над тем крыльцом, где они иногда что-то клеили, обнаружили осиное гнездо. Осы тонули в компоте, что ни день — то новый укус. Отец привёз его в первый гудящий день ближе к обеду. Они шли в лагерь вдоль моря по обрыву. Из-за сильных волн никто не купался. От шагов отца вниз оборвалась крупная гроздь сухой земли, хотя он сам был худой и лёгкий и отяжелел только через несколько лет, а в том июле продавщица в магазине улыбнулась ему через прилавок — пожалуйста, молодой человек, — и протянула бутылки с лимонадом и сигареты. Ему было одиннадцать, а отцу тридцать пять. Он едва поспевал за отцом, торопливо шёл, терпеливо слушал и из-за слёз ничего не видел.

Так, вслепую, дошёл до лагеря, проводил отца до ворот, побрёл обратно к корпусу и уткнулся в предательский флагшток, в котором август только набирал голос и обещал занятия и приключения и на этот день, и на следующий...

Чтобы заставить его молчать, он пинал флагшток, насколько хватало сил, обтрёпанной кроссовкой, и от ударов дрожал жаркий воздух вокруг площадки, качались деревья, но гул не стихал. Потом раздался страшный удар, на минуту заложило уши — самолёт преодолел звуковой барьер и пошёл дальше к морю, оставляя перистый инверсионный след. Его корпус тонул в серебре тополиной листвы и пыли, кто-то выбросил из окна мяч, и он весело запрыгал в тени, хлопнула дверь.

В кармане куртки он нашёл шоколадный батончик. Шоколад уже стал подтаивать, и он съел его в этот же день в роще за корпусами с соседом по палате. Они сидели в каких-то зарослях, ели и смотрели, как Палыч собирает дрова для вечернего костра и ломает самые большие палки о колено, и, если не получается, доламывает их руками. Палыч был весь в древесной трухе и красный. Дрова трещали, и казалось, что трещит по швам и костюм Палыча из искусственной ткани и по его сутулой спине бежит ток. Он смял коричневую обёртку, вытер о траву сладкие руки.

В лагерь они шли той же тропинкой, друг впереди, а он следом — и поэтому ещё немного слышал, как за спиной хрустят ветки и матерится физрук. Из всех кустов сквозило солнце. Жара песком и хвоей липла к голым ногам, сочилась из вчерашней, уже было подсохшей ранки на локте прозрачной смолой, а во рту было так, будто съел бузинную ветку. Дружок обернулся: «А? Чего?» — на его нечаянно обронённое: хочется сдохнуть.

Не бойся яков

Это самое начало лета. Кончились уроки и лекции. По телику мультики в обед, футбол, хоккей и фигурное катание вечером. А во дворе домино и шеш-беш, и весь двор твой на целых три месяца, и в запасе коробка мела — расчерчивай классики, прыгай, сколько хочешь. А в кино не пускают в сандалиях и тем более в шортах.

И такое жаркое солнце, что моментально засыхают царапины, выгорают волосы и чёрный росчерк «переэкзаменовка» или там «отпуск» разом становится лиловым, а потом и вообще исчезает заодно с розоватой клеточкой и красной линией полей, оставляя просто белый лист, такой же белый, как поверхность стола в доме у залива.

И всё совпадает полностью — и меловая белизна, и тёмно-красный полукруглый след от стакана с вином ровно посередине. О границах говорит только оборвавшийся на полуфразе кончик буквы «а». Он сразу обозначил, где лист, а где стол, когда за вечерним чаем, стараясь не потерять нить разговора, записывала часть речи, медленно выводила предложение, не замечая, что лист вот-вот кончится, и остановилась, только когда карандаш споткнулся, буква соскочила на столешницу, и я деловито стирала её тыльной стороной ладони, продолжая в уме: «Понимаешь, милая Маша, он сказал, что я очень красивая…»

За этим столом в самом начале лета с грустью думаешь о том, что хорошо бы, как раньше, после того как выставлены оценки за четверть, пойти с мамой в магазин и купить на лето новые брюки из хлопка, и новую рубашку, и сумочку на кнопке, в которой поместятся и зеркальце, и ключи от дома, и блокнот, и тамогочи, которого уже не воспитываешь, а просто носишь по привычке с собой, и даже магнитофонная кассета — тоже мамин подарок, двенадцать песен, которые, хочешь не хочешь, всё равно станут для тебя музыкальной темой этих каникул.

Но взрослые этим летом вместо штанов и рубашки купили дом у залива, потому что школа кончилась, и коричневые брючки с травяными пятнами на коленках остались в давно прошедшем лете вместе с дневником, велосипедом и кассетным плеером. В том дневнике была слабенькая тройка по математике, убедительная просьба классной ходить на дополнительные занятия и заодно на школьную практику в июне, «неудовлетворительно» по поведению и список книжек, которые нужно было обязательно прочитать к сентябрю. У велосипеда не работали ручные тормоза, а в плеере был голос Сержа Генсбура, и он пел о большеглазой девчонке с великом, похожей на мальчика, а остальное было неважно.

Дом у залива с тремя комнатами и кухней, яблоневыми деревьями, ясенем и тополем, качелями, лодкой, двумя собаками и котом достался почти даром. Во дворе стоял круглый белый стол и такие же старые белые стулья с круглыми спинками. На стол падали тополиные серёжки, и пух плавал в чашках, и весь двор был похож на большую пуховую подушку. Листья прилипали к подошвам, и перед тем как войти в дом, приходилось долго стоять на крыльце и чистить туфли.

В доме раньше жил мальчик лет пяти-шести вместе с родителями. От него остался узкий диванчик в детской, немного игрушек в ящике комода, пара книг на полке и скомканная пижама в шкафу. Форточка была затянута синей марлей, но когда перед сном зажигали свет, комары и бабочки всё равно проникали в комнату и кружили и пищали вокруг деревянного самолётика, пилотируемого деревянным лётчиком, который освещал свой путь тридцативаттной лампочкой и не боялся пестрокрылых бабочек, решивших прикинуться птицами.

На ночь мы укладывались в детской, самой маленькой из нас доставался диван, остальным — пол, застеленный мягким ковриком с рисунком города.

А перед этим мы долго сидели за столом во дворе. За забором было видно воду и то, как далеко садилось солнце. Двое мужчин прошли по улице с вёслами, один поздоровался с нами. Больше мы никого не видели. Радиоволна постоянно сбивалась, и мы выключили радио.

Тут всё так, как на тех фотокарточках, что я видела у тебя. Тут длинный белый одноэтажный дом, косая реечка забора, низкое небо, облака, запутавшиеся в тополиных ветках, и четыре девушки за круглым столом с чашками в руках. Всё, как на той карточке — четыре девушки разговаривают, склонив головы, они румяные от вина и ветра, одна что-то пишет на листике, другая растерянно катает по столу ягоды, третья улыбается, зажмурив глаза, четвёртая разрезает лето — круглую ладную дыню. Есть и неточности — у нас на столе нет ягод, потому что они ещё не созрели, а черешня на рынке очень дорогая, и Маша катает зелёное семечко от тополя; тут июнь, а у тебя июль, у нас под столом спит собака, а у тебя она бегает где-то в глубине двора, и если бы ты мальчиком сидел с нами, то вообразил бы, что под столом чудовище, и забрался бы на стул с ногами, и я бы протянула тебе ломтик дыни.

Ведь ты мог бы жить у залива и видеть из окошка детской полоску воды, но сперва — крапиву и кусты крыжовника. А из окошка взрослой спальни — ничего, потому что тебя интересовал бы не вид из окна, а только то, что на подоконнике и тумбочке. Бледные круглые таблетки в пузырьке, закупоренном комком ваты, дамские часики, остановившиеся на без четверти три, недоклеенный конверт от пластинки со сказками и коричневые куски клейкой ленты, прилипшие к лезвию ножниц, которыми ещё вчера тебе — «совсем зарос» — ровняли чёлку и волосы на затылке. А ты вырвался и убежал к берегу, и целый день за воротничком чесалось, покалывало, кусалось, жгло.

А на самом деле вместо залива была река, но так — всё похоже. Сад, одна собака бегает между деревьев и лает, пыльная белая дорога, двор, стол с прилипшими мокрыми листьями и серёжками ольхи, отпечатывающимися желтоватой пыльцой на ладонях, когда со всей силы опирался на столешницу — всё что угодно, но только не обнимать маму, я вообще не хочу с вами фотографироваться. Прямо в лицо вспархивает скворец, и на долгую память остаётся улыбчивая черноволосая женщина с высоким лбом и бровями домиком. Она художница из Азии в полосатом сарафане и в тяжёлых бусах, и её сын — слишком худой и угрюмый мальчишка в маечке с косой надписью «Сатурн» или «Марс», нетерпеливо переминающийся с ноги на ногу, старающийся соскрести носком тапочки присохшую к голени глину. Только этого не видно, потому что кадр начинался так, в порядке возрастания, с пронзительно белой полоски столешницы, глиняной пиалы с цветами, рассыпанных ягод — совсем как порванные бусы с тонкими нитками плодоножек — и только потом твоих рук и рук твоей матери. Они крепко обнимали тебя, и так, даже без красок, можно было догадаться, что кончики её пальцев красные — по столу рассыпали смородину, и в тот день варили компот на зиму, очень кислый, и тебе в чашку не разрешили положить сахар.

У тебя в шкафу жило чудовище, и ты вместе с сестрой каждый вечер отправлял ему на съедение несколько бумажных человечков, тогда ночью можно было спать спокойно. А когда твой отец чуть не зарубил маму топором, вам пришлось съехать, и ты с сестрой какое-то время жил в интернате, пока мама не забрала, а чудовище потихоньку сдохло от тоски и холода, перед смертью не переставая обнимать левой лапой сбившихся в кучку бумажных

мальчиков и девочек в костюмах с орнаментами, умело срисованными из казахстанского журнала мод. Оно было нестрашным, это животное, потому что ты его придумал и оживил, а остальные звери, встречавшиеся далее, вызывали страх, жалость, равнодушие, любовь.

Твой детский страх. Уже после интерната, когда переехал с мамой и сестрой в комнату у станции и до школы нужно было идти через железнодорожные пути, полосатый шлагбаум, будку стрелочницы — домик с крылечком, в котором по тёмным утрам горел свет, и ты отчётливо видел лампочку и кафельную печку цвета охры, как там, в старом доме, который уже стал забывать и вспоминал всегда, когда проходил мимо этой будки. Там, дома, был охряный деревянный пол, занозистый порог с намертво присохшей капелькой крови — папа разбуянился, и мама дала ему наотмашь по лицу, — стол, застеленный клеёнкой, хриплый приёмник с мелодией танго — сестра танцует с зайцем — и перерывистая струйка тёплого воздуха из-под дверцы шкафа. Ты вспоминал обо всём этом зимой, когда каждое утро — чёрное, тёмное, а когда светало ещё рано — то просто шёл себе мимо и дальше улицей, где за каждым забором собака, последний забор заканчивается, и начинается поле. И по полю до школы ещё минут тридцать неторопливого детского шага. Той осенью всё было в тумане, и ты шёл, шёл, съёжившись от холода, засунув руки в карманы. Ранец торчал дурацким жёстким коробом за плечами. Гремел, перекатываясь, пенал и оставлял закруглённым металлическим уголком аккуратные тёмные вмятинки на яблоке для полдника.

И вот ты шёл, гремел, бубнил себе под нос какую-то песенку и вдруг уткнулся во что-то шерстяное. Колючее. Оно пахло. Одеялом. Сараем. Серой. Ты сделал шажок назад и зажмурился. Потом посмотрел ещё раз. Ты увидел большой фиолетовый глаз. Потом рога. Потом копыта. Потом хвост с кисточкой. На тебя смотрел сам чёрт, и его нельзя было задобрить бумажными куколками. Чёрт посмотрел на тебя, повёл мохнатой мордой и что-то загундел. И ты побежал обратно в туман изо всех сил, крича и плача: «Чёрт! Там чёрт!» И бегал по полю туда-сюда неизвестно сколько, пока тебя не увидела почтальонша и не отвела домой, маленького, трясущегося, заплаканного. Почтальонша сказала, что это был як. Мама пришла со службы, раздела, растёрла, напоила молоком, дала таблеток, крепко завернула в одеяло, зажгла ночник. И ты лежал с открытыми глазами, стучал зубами и уже даже не плакал, а просто просил: «Мама, мамочка, яки скачут по подушке, один в складку провалился, мамочка, прогони их, пожалуйста». И шарил руками по одеялу, а мать ничего не понимала, совала под нос резинового бычка — «ну посмотри, сыночек, он же не похож на чёрта, он добренький» — и никак не могла взять в толк, что бычок — не як, он резиной пахнет, а чёрт пахнет шерстяным одеялом, одеколоном, спиртом, немного уксусом, что у бычка рога тупые, а у яков — острые, и они уже вспарывают красные ромбики по краю покрывала — им нужны толстые нитки, чтобы связать руки и ноги, сделать беспомощным, затоптать и забодать. Мама садилась рядом, пела песню, и яки забывали обо всём и засыпали, свернувшись катышками тёмной коричневой шерсти, и стряхнуть их с одеяла на пол было легче лёгкого, а с пола смести в совок и выбросить за порог, а дверь закрыть на засов — пусть теперь на улице мёрзнут, скоро зима, и их не станет, а ты спи. И ты засыпал, сквозь дрёму видел, как мать шевелила губами, слышал её песню и ещё то, как сестра твердила кому-то совсем как взрослая: «припадочный, припадочный,

он припадочный», хотя вот как раз этого ты и не мог слышать, потому что говорила она это своему вельветовому зайцу, сидя под столом, на ухо и шёпотом. На следующее утро всё вроде бы прошло. Никто не сказал ни слова, сестра заводила танго и танцевала с зайцем, а ты вместо уроков строгал ножичком ружья, штыки и сабельки и складывал их под подушку, чтобы защититься, если что.

Выпал снег, и яки пропали. К ёлке пришла открытка от отца: просил приехать и обещал, что больше так не будет. Мама сказала, что у нас слишком много вещей и мы не сможем поехать.

В январе в гости приехала тётя, и стало совсем тесно. Она привезла новые пластинки и краски, хотя их и так было навалом, и птичку в клетке. На ночь она накрывала клетку платком, а утром пела вместе с птичкой на пару, и неизвестно, кто громче. Иногда она разрешала насыпать корм и менять воду, подарила сестре пару пёрышек кукле на шляпу, дала примерить бусы, а ты украдкой понюхал сигареты и выпустил птицу полетать по комнате. Она ободрала обои и нагадила на шторы, но мама даже не ругалась. Тётя уехала в конце апреля, а через две недели в траву за домом стали падать тени от листьев деревьев и птицы. Ты принёс домой одного остроклювого птенца — он истошно кричал в кустах дотемна. Ты посадил его в картонку и целую неделю потом во всех подъездах своего дома, на всех этажах зажигал свет пораньше — чтобы на свет слетались насекомые. А потом ходил и только прихлопывал их матерчатой тапочкой алма-атинской обувной фабрики, складывал добычу в мешочек и дома кормил птенца — он послушно разевал клюв и ел. Он почти окреп — пытался летать с ладони по комнате, обычно долетал до середины и падал. Он смешно ковылял по лакированной поверхности стола, и скоро его можно было отпускать на волю. Но птенец ни с того ни с сего захандрил, от еды отказывался, и приходилось открывать ему клюв пинцетом, чтобы хоть как-то накормить, а он выплёвывал бабочек и обиженно пищал. В один день выбрался из картонки, завалился за стол и умер. Мама нашла его в обед, похоронила в саду, а тебе сказала, что он улетел, чтобы ты не горевал. Но ты всё равно расстроился, и не только потому, что не успел обучить его сидеть на плече, говорить и прилетать на голос, но и потому, что слишком хорошо запомнил, как нежно он прикусывал палец и как блестело его крыло под светом настольной лампы в те вечера, когда ты переписывал набело задачку, заполнял дневник погоды или просто читал что-то даже про себя, а он сидел на краю коробки, покачивался, моргал и понимал абсолютно всё.

Потом в июне ты упал с велосипеда и сломал ногу. Нога срасталась медленно, и всё лето проходило за окном, иногда останавливаясь в образе девочек-соседок, возвращающихся из магазина или с прогулки. Старшая и младшая, большая и маленькая. Старшая всегда по-идиотски хихикала, когда младшая кидала тебе в окошко всякую мелочь, ерунду — цветочек, блестящую пуговицу, кусок шоколадки с полукруглым ступенчатым следом зубов. А тебе нравилась старшая, и ты любил смотреть, как она выходит на улицу вечером в кусачем трикотажном костюме с белой молнией, которая, когда застёгиваешь под горло, так и норовит прикусить шею и то место под подбородком, где кожа нежнее всего. Она кормила кошек и шла играть в волейбол в соседний двор. Иногда она кивала тебе перед тем как исчезнуть за поворотом — мол, а ты сиди за окошком, смотри на котят и кошек, кискай себе

под нос, плачь оттого, что уже десятый раз читаешь одну и ту же строчку: «28 мая установили, наконец, лестницу длиной в восемьдесят футов, сделав на ней, по меньшей мере, четыреста ступеней», застряв на 188 странице, а впереди ещё целых четыреста, и никак не успеть до утра — за книжкой придут после завтрака; а, чёрт с этой книжкой, но надо же быть таким дураком, чтобы сломать ногу, упав с подросткового велосипеда на поленницу, неудачно затормозив перед дурацкой курицей с её дурацким выводком, лишив себя сразу и лета, и волейбола, и всего прочего.

В твоём дворе было очень много кошек. Они жили в подвалах, ловили мышей, мяукали под окнами, грелись на солнце, регулярно котились. Тем летом мама принесла со двора одного белого с пепельным пятном на лбу, вымыла его дегтярным мылом и разрешила брать с собой в постель. Он просыпался рано, топал по груди к лицу, громко мурлыкал и лез без разбору и в губы, и в щёки, и в глаза шершавым языком. Он рос быстро и через неделю уже не помещался на ладони. Сестра звала его Маркизом, мама — Барсиком, и только ты почему-то — Немо, посоветовав всем остальным называть маркизами и барсами тряпичных кукол и вельветовых зайцев.

Он быстро научился выбираться из окошка во двор и целыми днями катался пушистым клубком с братьями и сёстрами от подъезда к подъезду, а ты свешивал бумажный бантик в высокую траву: «Немо, Немо, кис-кис-кис!» — и он прибегал, только не по первому зову, конечно. В конце августа травили крыс. Отраву насыпали в еду, и твой Немо пришёл домой еле-еле и умер у мамы на коленках так быстро, что ты даже не успел налить ему молока. Мама завернула его в старую наволочку и закопала в саду, а тебе говорила: он убежал. Ты не поверил, но через много лет говорил то же самое подружке своего сына — они завели котика, и тот свернул себе шею, прыгая со стола. Он был белым, пушистым, с серым пятном на лбу, и было ему всего два месяца.

А тогда, тем августом, о Немо тебе напоминало всё — и ободранная табуретка, и расцарапанные ноги сестры, и белые шерстинки то на свитере, то на диванной подушке, а то и просто сбившиеся в лёгкий комок напополам с паутиной и пылью, выметенный из-под серванта. Больше всего шерсти было на синей фуфайке, в которую обыкновенно заворачивали ужин, чтоб не остывал дольше, — кастрюлю с тяжёлой крышкой. Крышку нужно было поднимать за винную пробку — самодельную ручку. Крышка сладко бомкала, хотя под ней ничего сладкого и не было — чаще всего тушёная картошка с потемневшими кольцами лука. К этой картошке резали чайный хлеб — тёмный и немного влажный, иногда в нём попадался изюм. А к компоту по-прежнему не давали сахара.

Сахар не давали не потому, что его не было, или было слишком мало, или он был очень дорогим, а потому, что те два лета вообще было нельзя есть сладкое — кожа на руках сразу шелушилась красными сухими кружочками, и на голове то же самое. Всё для того, чтобы добрые тётушки говорили: «Золотушный мальчик» и совали конфеты. Потом, когда сладкого стало можно есть, сколько захочешь, ты скармливал весь свой сахар и все свои конфеты собаке. Она была большой, где-то тебе по пояс, короткошёрстной, рыжей. Её так и звали — Рыжая. Она всегда спала у твоей кровати и охраняла тебя и любила. И не только за конфеты или за то, что вовремя вывел погулять, но и за то, что, когда вы в очередной раз переезжали из одного города в другой через

Москву, она стёрла в метро на эскалаторе в кровь лапы и не могла ходить, и ты целый день носил её на руках.

Мальчик с рыжей собакой на руках на Красной площади, мальчик с рыжей собакой на руках у памятника Пушкину, мальчик с рыжей собакой на руках в зале ожидания, мальчик с рыжей собакой на руках у вагона поезда, мальчик с рыжей собакой на руках в новой квартире на диване, мальчик с рыжей собакой на руках на балконе. На полу в коридоре возле входной двери, просто мужчина, один, без собаки, она умерла несколько лет назад от рака. В далёком прошлом укротитель шкафных чудовищ, ловец выпавших из гнезда птиц, бояка яков, любимец собак и кошек, а сейчас просто взрослый с двумя детьми. И твой старший сын вообще с тобой не разговаривает, а младший смотрел недавно старые снимки, те, на которых высоколобая женщина, лето, белый дом у реки и всё такое, ткнул пальцем в тебя, радостно, оттого что узнал, закричал: «Это я! Я!», а ему говорят, что не он, а ты. И тогда младший заплакал, забился в истерике: «Не хочу быть таким, когда вырасту! Не буду!»

И ты, конечно, мог бы расти в этом белом доме у залива. И знаешь тут всё, похоже. И сейчас в соседней комнате умирает от рака и старости собака. Мы регулярно делаем ей уколы снотворного и обезболивающего, несколько раз в день выносим на пляж. Она почти всё время спит и плачет во сне, а когда не спит, то спотыкается по комнате, ничего не видит, ничего не слышит, плохо ориентируется, тычется носом в коленки, скулит. Ты знаешь, у неё только цвет шерсти другой — серый, и порода — какой-то шнауцер, а так всё похоже.

И я хорошо понимаю, что рос ты в совсем другом доме, в совсем другом месте, но почему тогда я нахожу под матрасом маленькие, в палец длиной, деревянные штыки и сабельки? Лихие и острые? Я выбрала одну, самую тонкую, и положила в нагрудный карман рубашки. При ходьбе она немного покалывает, но я не собираюсь её вынимать, чтобы защититься, если что, а то так часто видишь непонятные следы то на песке, то на раскалённом асфальте, то на мокрой тротуарной дорожке, а то и вообще зимой, на белоснежной детской площадке, что становится страшно, и некому сказать: не бойся.

Анна Новицкая

Родилась в 1986 в г. Калининграде. Участник творческой группы «Эффект Доп(п)-лера», участник проекта «Чёрная курица», фестивалей «СЛОWWWO», «Эффективная поэзия» и Московского фестиваля университетской поэзии. Лонг-лист премии «ЛитературРентген» (2008), лонг-лист независимой поэтической премии «П» (2008). Публикации: альманах «День открытых окон», журнал «Параллели» и др.

***

не знаю, кто виноват, и виноват вообще ли,
в том, что в моём сознании только прорехищели
в том, что мой затылок ждёт поцелуя пули
в том, что ежесекундно ждёт поцелуя пули
в том, что я на красный иду на любой из улиц,
на самой опасной из наших опасных улиц
в том, что жду знаменья, воскресенья, любого чуда,

в том, что я отсюда
на сто процентов отсюда
из этих кирпичных стен, из серых улиц весенних
и не положено мне ни пули, ни воскресенья

Бонни и Клайд

Сегодня не в перестрелке друг другу велят: «Ложись...»
Это не взгляды, это серебряные ножи.
Тридцать четвёртый. У них впереди вся жизнь,
Которую не прожить.

Они открывают окна, танцуют под «Only you»
(Она ещё не написана, но здесь я им напою).
Клайд говорит: «Закончились. Дай докурю твою», —
Бонни ему: «Я тебя люблю»

(Точней, говорят по-английски, но смысл, конечно, тот).
«Я тебя люблю» — литота из всех литот.
У Бонни рыжие косы и ярко накрашен рот.
Клайд так жадно её берёт.

Тридцать четвёртый. Май. Впереди года.
Через неделю на их дороге не останется и следа.
Бонни ему: «Я обещаю, что смерть — это не навсегда», —
Клайд ей кивает: «Да».

В этот раз Клайд обнимает Бонни чуть-чуть сильней
И дверцу «форда» распахивает перед ней.

В такт

Не манить, не ждать, не держать руками,
Не искать в эфирах и трэк-листах,
Не будить с утра, изводя звонками,
Кое-как срифмованными стихами,
Знать, что предстоит ещё перестать.

Просто заключить на мгновенье пакт,
Совершить такой добровольный акт —
И друг друга греть по ночам боками,
И кончать вдвоём, задыхаясь в такт,
Разделять одно на двоих дыханье,
В перерывах вламываться Вконтакт
И курить, затягиваясь вот так,
Словно жить ещё предстоит веками,
Словно жизнерадостными щенками
Мы уже останемся на века.

Голубок да горлица

Голубок да горлица
Никогда не ссорятся.

Любятся-милуются, нежатся да гладятся,
Он такой заботливый, а она — красавица.
Голубок да горлица — ласковые, милые.
Он цветочки высадит над её могилою.

Голубок да горлица
Больше не поссорятся.

Поднебесное

Завтра я взмою в небо и упаду, стисну ладони потные на лету, ринусь навстречу тени — может быть, я подумаю: «Вот говно...» — будет ли мне по-прежнему всё равно в этот момент паденья? Крик разорвёт гортань, разорвёт мне рот, сердце забьётся бешено и замрёт в самой последней пляске. Холод в ногах, затылок в пятьсот пудов. К этому я готовился, но — готов? В кресле, в нелепой маске? Крик — в ультразвук, потом в бесполезный хрип; мозг говорит: терпи, говорит: смотри, запоминай скорее. Мозг говорит: нет смысла запоминать, каждому одинаково помирать, разница в интерьере. Мог опоздать на рейс, но не опоздал; истинно, безопаснее поезда — так самолёт быстрее! Знал бы об этом раньше — не полетел! Станет дурацкий «боинг» для наших тел братской большой постелью... Господи, нет, пожалуйстанехочу

завтра я взмою в небо и полечу

Над пропастью во ржи

С вечера закусывали палыми листьями,
С утра же откровенно и удачно узнали
Анальные методы постижения истины,
Системы пожирания меня глазами.
Ступали по лужам на немытые досточки,
Славили Амона, Ярило и Феба,
Выплёвывая в воздух вишнёвые косточки, —
Пока им на затылок не обрушилось небо.
Величие падших ослепляет безусловно.
Я преклоняю перед зеркалом колени,
Цитирую Библию почти что дословно,
Дополняя сонмом крохотных исправлений.
Один оскалился в своей замкнутой клетке,
Другой руками ловит остатки души;
А над пропастью шныряют поднадзорные детки
В золочёных колосьях переспевшей ржи.

Корвалол

моё сердце безумное — погляди —
чересчур велико для моей груди
бьётся в рёбра острым стучит углом
прорывается проталкивается напролом
разбухает пульсируя и звеня
заполняет пространство внутри меня

я стараюсь только быть начеку
если кто-то внезапно рванёт чеку

Каждое время

Что говорили — берут назад:
Полем цветущим, толпой солдат
Всходят посеянные семена.
Время долги отдаёт сполна.
Что меня ранило — нынче прах.
Эти поводья — в моих руках.
Что убивало — теперь быльё.
Каждое время — моё! моё!

Радуюсь, рученьки уроня:
Время работает на меня,
Знает порядки моей игры —
Я принимаю его дары.

Нынче — сполна, через край, с лихвой.
Время кивает мне головой.
Всё, мне не нужное, — в стороне.
Всё, что моё, — остаётся мне.

Больше не одинок

больше не один больше не одинок
на ногах красные башмачки на главе колючий венок
ты снаряжён в путь я помог тебе как уж мог
что требуется главе что там нужно ещё для ног

больше не одинок и уже никогда один
мы молчим только когда едим
мы кричим когда наш чудовищный Аладдин
нас вызывает из ламповых наших глубин

мы не ропщем никогда ему не грубим
что угодно солнцеравный мой господин
а под венком сидит: ну погоди ты мне погоди
тебя бы так — вряд ли смолчал бы поди

это даже не страх это просто всего сильней
мы боялись смерти — мы забыли теперь о ней
господин вызывает нас из наших родных теней
чтоб мы сделали солнце жарче ветер тише моря солоней

мы даём монеты карманам вино устам
никогда не допускаем мысли что возможно устать
смерть над нами не бьёт в свой немой тамтам
если выбрали долю чего уж там

***

Одиссей сквозь ворота подходит к дому, поднимается на крыльцо, обнимает женщину полузнакомую, разглядывает лицо. Её щёки в морщинах, глаза белёсы, из-под покрывала седеют косы.
На него смотрит в ужасе Пенелопа и почти что не узнаёт; с губ срываясь, беззвучный шёпот с головой выдаёт её: пальцев дрожь, беззубость и плешь к тому же — разве могут быть у царя и мужа?

И стоят старики, глядя друг на друга. Где мой юный супруг? Где моя супруга? Одиссей, сдавшись первым, отводит взгляд, улыбается виновато, чтоб не видеть, как слёзы её блестят:

— Здравствуй, жёнушка, как сама-то? Собери мне в дорогу чего-нибудь: завтра снова в путь.

***

Или бояться, зная: себе дороже?
Или смириться с тем, что всегда легко?
Бог тебе расстилает сахарную дорожку,
Поливает её карамелью и молоком.

Или утешаться догмами богословскими,
Верить, что так искушает бес?
Или быть с этими — всякими маяковскими,
Всякими куртами, свободными от небес?
Или просто делать всегда, что хочется,
Каждый раз выбирая опять не ту?
Я стою, глазами в пролёт хохочущий.
Мой окурок
падает в пустоту.

***

Что ты, братушко, не весел
И понура голова?
Зажигательные смеси —
Посильнее, чем слова!

Нынче время не такое,
Чтоб на митингах болтать!
Будь ответственным героем:
Шашки, газ и автомат!

Не размахивай листовкой,
Обращенья не пиши:
Настоящая винтовка,
Эх, приятней для души!

Нынче время не такое,
Чтоб трепались болтуны.
Будь действительным героем
Для себя и для страны!

Кто политикою ранен —
Все рассеялись уже:
По приморским партизанам,
По уютненьким ЖЖ.

Положи на сердце руку,
Всё в уме прицельно взвесь —
И твою развеет скуку
Зажигательная смесь!

***

разбито всё и давно забыто, быльём надёжно позаросло; моя прекрасная сеньорита, любить-то, в общем-то, — ремесло, и не из худших, моя красотка, мой колокольчик из хрусталя, мне бивший в голову, словно водка, когда тебя целовала я
теперь целую других — ты знаешь, моя красотка, всё тем же ртом. я стала гордая, стала злая (на поцелуи щедра притом), а ты — всё та же морская птица, и незнаком тебе вкус тоски…
ты сниться будешь мне, Боже, — сниться до самой уж гробовой доски, я это знаю и принимаю, не мне менять этот ход вещей

мы были пьяные этим маем, и кроме нас — никого вообще

ты сероглаза, густоволоса, твой ротик нежен и очень ал; кто не смотрел на тебя с вопросом, тебя отчаянно не желал? меня ты ранила, словно спица, не завязать никаким бинтом

ты не до смерти мне будешь сниться. ты будешь сниться мне и потом

Павел Настин

Родился в 1972 в г. Калининграде. Поэт, фотограф, независимый куратор. Координатор проектов арт-группы «Рцы». Куратор фестиваля актуальной поэзии «СЛОWWWO», литературно-художественного сообщества «Полутона», выставки визуальной поэзии «Платформа». Лауреат премий «ЛитератуРРентген» (2006, 2008). Книги стихов «Язык жестов» (Москва, ОГИ, 2005), «Рцы: внутри» (совм. с И. Максимовой, Е. Паламарчуком и Ю. Тишковской, 2007). Публикации: сборники «Зверос. Эрос. Ксенос» (Москва, 2003), «Арт-Гид. Кёнигсберг/Калининград сегодня» (2005), «Солнечное сплетение» (2005), «Дети бездомных ночей» (2006); журналы и альманахи «Век искусства», «Сетевая поэзия», «Воздух», «TextOnly», «Лик», «Абзац», «Воздушный змей» (Эстония), «Новый берег» (Дания), «Post Scriptum» (Швеция), «Reflect» и «Черновик» (оба — США). Стихи переведены на английский и шведский языки.

[полёт и космос]

Что же делает здесь
Этот русский мальчик
Со всей своей памятью о
Еврейской бабушке
(Дедушка был поляком)?
Мальчик, родившийся в немецком городе,
Росший подле греческого кладбища, —
Этот русский мальчик.

Записываем за мной: дано нечто русское,
Как тема для сочинения —
Жёлтые лбы собак —
Электричек «Полёт» и «Космос» сквозь мокрый снег.
Необъятен простор меж бетонных заборов
В первые десять минут после водочных ста —
Слободская свобода: серая ватная куртка,
Под которой не слышно сердца, но сердце бьётся.
Бьётся, и очень сильно.

[хлеб]

Тотальные, как пишется на биллбордах, распродажи летней одежды предвещают не менее тотальную осень — скорый поезд её циклонов с грузом заживо облетевших листьев.
Вот-вот он покажется из-за поворота — дизельный дым и сырость под заострёнными сводами Южного вокзала.

И так сразу не разглядеть из-за тех слабоумных стриженых их затылков, чем нарезанный хлеб сочится: *воздухом или кровью.*

[elchwald]

1

«проекты», «издания», «публикации», «интервью»...

мне понравилось ездить к тебе в деревню
вечерним дизелем с северного вокзала
семьдесят пять километров на северо-восток
где сельские жители час сорок пути домой
догоняются водкой и баночным пивом дизель
собираясь наутро в том же составе
в том же вагоне дизеля на опохмел

у тебя вода стоит высоко в колодце
на улице полная тишина в огороде чужие куры
пятна сырости в доме осыпается штукатурка
прошлогодние яблоки на земле гниют у сгоревшей бани
а к стене чердака прислонились рамки с пчелиными сотами
и они пусты

общественные осы почему-то не заселяют их
общественные осы больше не населяют меня
облетают меня стороной мои соты они пусты

разве что множественные звёзды разной величины
на западе ночью над пастбищем после дождя

общественные осы —
какие-то «публикации», какие-то «интервью»

2

гнёзда омелы, сбитые штормовым ветром,
блестящий мокрый лишайник на коре вязов,
гнилая трава в кюветах, яблоки в холодной воде,
крошится промокшая облупившаяся штукатурка,
от сырости разбухла входная дверь,
швы между глазурованными плитками
у голландских печей разошлись — достойная старость,
оконная замазка оставила на стене жирный след,
пустые пчелиные соты на чердаке,
в комнатах запах жидкости для розжига дров,
паутина в кладовой, тонкие колбы — гнёзда бумажных ос,
ламповые внутренности советских телевизоров,
чёрные резиновые сапоги — подошвы в грязи,

гнилые доски, просевшая крыша, дырявая листовая жесть,
велосипедный насос, лампочка в сорок ватт,
сломанная коса, колесо, ржавые замки,
прохудившийся чугунок на крыльце,
у колодца новое жестяное ведро,
рама оконной форточки — украшение на стене
с пластмассовым крестиком
на блестящей ленте из синтетического материала,
лимонное мыло, погрызенное мышами,
красный газовый баллон, керосиновая лампа,
ольховые дрова потрескивают в печи,
опасно низкие тёмные облака,
дождь и круги от него на воде,
пастбище, затопленное водой,
велосипедист, рыжая собака, куры,
кот прячется от дождя в дровяном сарае,
овцы пасутся на железнодорожной насыпи,
тихий пригородный дизель
незаметно появляется из тумана,
однажды я никуда не поеду

[голубые пакеты]

они не в дверь звонят а лезут в окно
они делают больно оптоволокну
наташа бежим

наш моррисси в их списке гениев века
наш розенталь в муниципальном мусорном баке
в переулке имени чернышевского
панцирная сетка о которой забыли ржавеет
наташа это документалистика бежим

за вычетом первого января
литературы улицы дисциплины
и того места где теперь шоколадная фабрика
у нас никогда ничего бежим

[murmur]

шерстяной клубок подкатывается к ногам.
что он нам несёт?
я пришёл дать вам волю.
от кого ты спасаешь нас, шерстяной клубок?
от гибельных иллюзий спасаю,
навязанных вам катушкою синих ниток.

что же такого сделали нам синие нитки?
они отучили от чувства долга перед своей свободой.

дети, поём все вместе:
наш флот — самый подводный, и не важно, что он утоп.
наши ядерные ракеты — самые ядерные и ракеты,
слава богу, никто их не видел в деле.
наши преступления — самые простительные грехи,
и в небе наши лётчики — самые трезвые из пилотов.
наши взлётные полосы — для взлёта, не для посадки.
топливные баки нашего будущего залиты под не могу,
но нам не хватает их, не хватает, и я спешу написать тебе,
потому что завтра это будет чужой язык.

мне, видишь ли, нужно успеть объясниться.
мне, веришь ли, важно успеть применить —
до того как они используют свои ракеты —
одну-другую риторическую фигуру,
мне бы успеть объясниться, мне бы:

murmur, девочка. это murmur.
это мог быть и твой murmur тоже.
это мог быть наш общий murmur.
но мы не успеем, так что давай *говорить,*
давай никакого murmur,
давай говорить на непрерывно живом умирающем языке,
которым завтра будет чужой язык.

Катись отсюда, проволочный моток!

[сонет]

яндлевские ежи
никогда не перейдут дорогу уже
стоит только вступить в поток
в плавленый асфальт
подступают трудности тошнота
чужие лица мешкают исчезать
близорусскость и невралгия
амальгама тройничного нерва
радиопрозрачные купола волги

голубые бахилы
обрезанные стропы
едва различимые указатели
во вторую кардиологию
ежи не находят себе пути

[сумерки. ноябрь]

гаснет воздушный объём
медленный свет перебирает
оттенки серого

трёхлетняя девочка
в глубокой задумчивости
водит пальчиком по строке

по ту сторону иллюстраций

[бумажный самолётик]

волчьи глаза бессонницы
глядят-глядят — не видят.
иди, не оглядывайся — глаза мимо,
не зацепит. нет, зацепило.

юля, в железнодорожном не бывает осени.
лёва, в железнодорожном не отцветают.
завтра же с первыми лучами мы едем,
чтобы в ракурсе и в контровом —
все мы в солнечном и контровом.
в старые времена, говорят, было меньше линз,
но просветление, говорят,
было хуже — не давался контровый.
слабо верю я в просветление — это выцвел свет,
его стало меньше — света.
свет кончается, юля.
его не хватает, лёва.
воздух шипит,
чем мы будем зарабатывать,
когда он весь выйдет?

волчьи глаза бессонницы
глядят-глядят — светофорные, жёлтые.
мигают и обнуляют — пугают.
волчья пасть говорит-говорит.
заячья губа дрожит-дрожит.

в железнодорожном знамений ждут.
в нойальтштадте книги жгут.

пока *земля в загадочном полёте,*
пока *простой печальной силой плоти,*
пока ещё кабрирует анперия,
как плохо сложенный бумажный самолётик.

[потроховый мост]

боинг делает «коробку» — кренится над кюршю нерунг,
и по левому борту мы видим кривую дорожку к соснам,
дачный отцовский домик, датские ветряки, свекольное поле.
это не сосны жёлтые, это — клёны, это уже другая дорожка
и даже дорога, даже шоссе — вязы и липы, опоясанные извёсткой.
мы улыбаемся друг другу от любви и страха, потому что боимся оба
даже таких коротких перелётов из восемнадцатого в шестнадцатый век
и обратно — поближе к военкомату на французской улице.

горшочек — вари, щелкунчик — грызи, а гретхен — всегда в грязи.

отцы и деды слушали голоса, убеждали жёлтые шторы:
там — запад — чаплин и китон, и никто не знает, кто победил.
мы не видели в сорок пятом везель и боялись увидеть тверь.
рабами работали на шихау, на шпандау мылись в районной бане,
на вагнера жили, на шиллера жили, на суворова жили — кто мы теперь?

и на достоевского люди живут, что странно.

горшочек — вари, щелкунчик — грызи, а гретхен — всегда в грязи.

а я — молодец, во всяком случае расплакался я не сразу — уже дома,
но не важно. скажи лучше, ты ведь тоже помнишь все тени от самолётов —
как они отлетают, когда он отрывается — боинг или эйрбас,
как тень скользит по жёлтому редколесью над домодедово, скавста,
над кьобнхавном, берлином, мюнхеном, ригой, варшавой, гданьском?
и громадные белые киты сопровождают нас, заходя боингу в хвост, —
присматривают за нами, пока мы летим туда,
где не важно, как жить, — важно, как умереть в один день.

горшочек — вари, щелкунчик — грызи, а гретхен — всегда в грязи.

[примерно одна лёгкая сутулость на двоих]

1

моря заношенные кружева,
узкая полоса песка,
следом — польдерная земля
и снова вода, сплошная вода.
вид сверху — одна тоска.
на цыпочках тянутся города —
мысок ботинка воде отдать,
поиграть, проникнуть, поцеловать.

вся в водяных порезах,
тихо плывёт и поёт земля —
целует, не разжимая губ,
поёт, не раскрывая рта.

2

стакан «вана таллинн» с молоком, кофе и семь утра.
одна сигарета — весь день свободен.
чёрная куртка. серое пальто. каблуки. ботинки.
примерно одна лёгкая сутулость на двоих.
бессонница после ночной смены.
сегодня — завтра, и сегодня завтра
на работу мы не пойдём.

что они сделают нам?
уволят? — смешно.
просто сегодня завтра мы не пойдём.
и всё.

не слушай тех,
кто приучает тебя
покупать одежду в берлине.
мы — наша лучшая одежда в семь утра.
молоко, кофе, каблуки, ботинки.
замковый пруд так и не замёрз,
и ты не уснёшь до следующего утра.

3

мы не скоро увидимся — декабрь:
много работы, никаких выходных.
ты должна помнить и быть спокойной.
с готланда пишут: ветер и дождь,
дождь и любовь — переводы с аинского на усский.
и на вогеров монте кассино — дождь.
в «ротунде» подорожало. витёк лежит в земле.
такси после двух бесполезно ждать.
в «злотны клос» вдоль пляжа можно пройти пешком.
витёк лежит в земле. на посадку — во второй коридор.
захолустье леха валенсы — короткая полоса.
«райан эйр» задерживает, как всегда.
уже привычный оранжевый полукруглый стенд:
«гданьск-1980 — киев-2004 — мы начали это».
витёк — в земле. моника — вся в золе.
польска — ще не… любовь — зла.
моника держится молодцом. память — зола.
на готланде переводят с аинского на усский.
память — моника. витёк — буковый лес за гдыней.
витёк-моника, моника-витёк — *никаких обобщений.*
много работы. декабрь без выходных.

ворочается глухая рыба — поёт земля.

[schillerstr.]

Любви и смерти скрытая реклама

И. Белов

1

пора бы уже скопировать документы
сменить тему уколоть но-шпу поменять памперс
уколоть трамадол принять валокордин
сменить тему жить забыть как живут
жить дальше в стену в розетку в штукатурку
забыть как живут сменить тему
отдышать оконные стекла отстирать пятна
следить за температурой переложить книги
манхейм будет сверху а бубер снизу я не знаю
отходят фрагменты слизистой я не знаю
отходят посмотрим как будет завтра
ни малейшего изъяна не видеть в глине
нью-эйдж в репродукторах на цветковском

вероятно вплоть до самого воскресения мёртвых
забыть как живут жить дальше в стену в штукатурку

кулаки липовые разожмутся пальцы шарлоттенбурга
растопырятся а куда им ещё деваться трамваи ходят
и стоят обрезанные деревья ходят трамваи
стоят покосившиеся бахчисараи покрывают
шарлоттенбург новым невиданным покрывалом
было мало а стало но разжимаются посмотри липьи пальцы
и озёрные чайки надо всем гранитом летают
просят хлеба кричат на ту сторону при артобстреле
лейтенанту катину намекают

а что ему так лежать это просто же чёрный мрамор
просто перепиши возьми инструмент и перепиши
только сперва возьми если возьмёшь если сумеешь взять
стёрли готический засекли кириллицу в шестьдесят первом
в восемьдесят седьмом уже рубленая без засечек
сан так сказать сериф китаец не так подаёт дурак ничего не знает
старуха киргизка метёт угол шиллера и карла маркса
нашу грязь из кёнига выметает

всё равно не поверишь
думал что дописал
высунулся в окно курю ничего не знаю
девушка в кедах по улице шиллера
быстро-быстро шагает
громко вслух напевает
one night can change everytihng one night

2

и поскольку нечего долго тут рассуждать
развели для дыхания понимаешь воздух
обратиться бы нечем грянуться
голова в кустах — не обернуться
и так вот стоя толком даже не наклониться
не достать не достигнуть не прикоснуться
относительно лишь намерений спать бы себе и видеть
улыбаться и спать обмануться отчаяться развернуться
не обняв толком по несложной касательной промахнуться
мимо цели поцеловать остановиться и оглянуться

эта влажность яблони-времени здесь всегда
в отдельные месяцы лета лёгким её не хватает даже
как жжётся крапива
как кругами растёт монилиния
как в ногах путается лебеда

такова привычка такова я бы сказал судьба
таков мёд липовых этих мест таков их запах
такова здесь борьба за мир
за сухой паёк сыплющейся штукатурки
зачитанной осами и мокрицами до самых дыр
эта влажность эта его (воздуха)
почти постоянная влажная непрозрачность
обернуться нечем грянуться
голым лишь остаётся стоять-бояться
обернуться остановиться
переломом взгляда
но оглянуться
всё же успеть остаться

успеть проснуться
в мире где параллельные пересекутся

3

стены, двери — почти как та старая квартира на шиллера
семьи болеют временем, когда не сбываются надежды
остаётся сетовать на нервы
корни растут вниз — догоняют уходящих всё глубже в землю

корни передают наверх эту подземную тьму
как сказать? — питают свет соками тьмы и глухой тишины

первый-первый — второму
о третьем: «он» —
«он» сказал «ему»
и стал мир

дальневость — это ли не причастность вещам и судьбам родителей?
это дистанция, в чьём промежутке обнаруживаешь ты свой опыт?
но вдруг видишь, как опыт становится не твоим, а общим
а ты — безличным собой
запускается программа возвращения —
«автоматически», как говорили отцы и деды
с дальней орбиты корни пускаются в рост
и лёгкости как не бывало
вещи были судьбой корней
ты бежал их
а ныне вещи — всего лишь есть — голые, ни единого знака
и до попытки бегства тебе нет никакого дела

котёнок перебегает четырёхполосную дорогу
останавливается и мечется на сплошной двойной
сердце почти останавливается: собьют или не собьют?

стюардессы в форменных чёрных плащах
садятся в оранжевый служебный автобус
готовые к длительным ночным перелётам
в московию, за урал и ещё восточней
на площадном мониторе интенсивно
рекламируют новый стрип-клаб
недавно открытый на побережье

куда как раз направляются знакомые
вокалистки и стриптизёрши в пригородных автобусах
по улице александра невского

где в служебном автобусе ждут бортпроводницы
где остался котёнок (кошка) на сплошной двойной

не все умеют правильно переходить дорогу
многие делают это наудачу
с риском для своей жизни

пение мёртвых зовёт
корни растений
пускает в рост
из синего в жёлтую глубину

опадают сорванные мёртвые
кружась исчезают из поля зрения
в желтоватой перспективе глины

господи, прими их, как и мы принимаем
прямые углы их
как факт
просто как факт
как и ты принимаешь прямые углы их

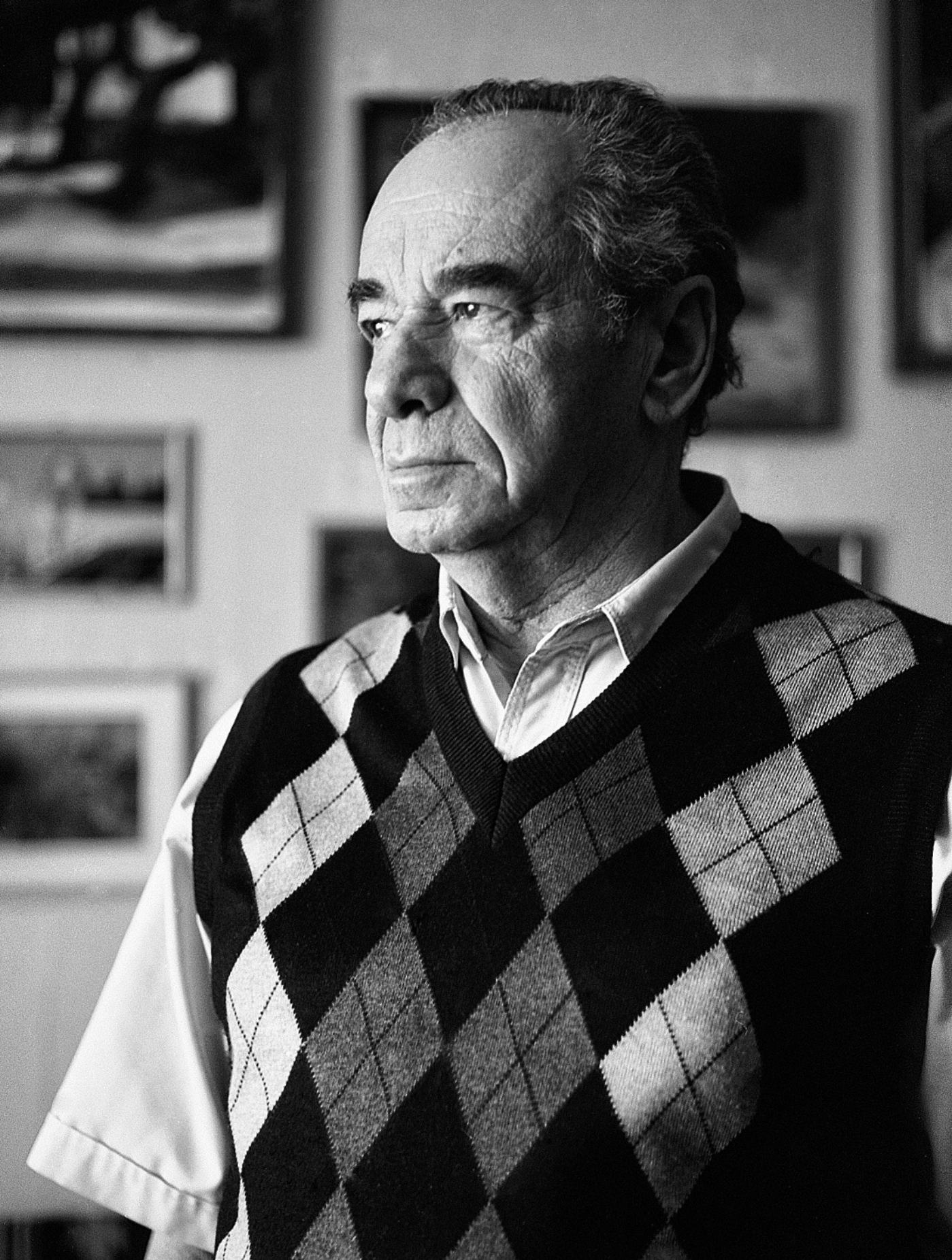
мёртвых с нашей передовой
от нашего стола — к вашему столу

первый-первый — второму:
первый, первый, я — *тоже*

[море между пальцами]

помнишь ли ты море между пальцами
помнишь ли ты море и песок между пальцами
ну а так у меня всё в порядке
активная жизнь насыщенная встречами
с интересными людьми
море любви и тепла
море любви и тепла
море забвения море росса
море москвы море между пальцами
море менделеева море уэдделла
море изобилия между пальцами
активная насыщенная жизнь
полная встреч с интересными людьми

мама как я там
как я там я живу хорошо
шорох финской шуги
тусклый нож



Олег Глушкин

Родился в 1937 в г. Великие Луки. Сопредседатель Союза российских писателей. Член бюро Калининградской областной писательской организации Союза российских писателей и исполкома Калининградского отделения Русского ПЕН-центра. Составитель и издатель антологии «Лики родной земли (1999). Лауреат Артиады народов России (2001), премий «Признание» (1996) и «Вдохновение» (2000). За вклад в развитие культуры награждён дипломом Канта (2001) и золотой медалью «За полезное» (2004). 17 книг прозы. Рассказы переведены на литовский, польский и немецкий языки.

Летучий голландец

Обречённый на вечное плаванье, ты бороздишь океаны. Ты не можешь пристать к берегу. Корабль-призрак, скользящий никому не ведомым путём. Светящийся ореол на концах мачт — бегущие огни Эльма — предупреждает встреченные в ночи корабли. Эти корабли трусливо меняют курс, убегая от тебя. А ты всего лишь хотел передать им почту от тех, кто давно покинул твой борт. Твой капитан, неистовый и безумный голландец, полагал, что имеет право распоряжаться чужими жизнями. Он застрелил жениха самой красивой девушки и хотел овладеть ею. Но девушка выбросилась за борт. Разъярённое небо послало шторм и сделало невозможным дальнейший путь под парусами. Но твой упрямый капитан, сквернослов и богохульник, поклялся, что обогнёт мыс Горн, у которого скопились все ветры мира. Он застрелил недовольных, тех, кто пытался образумить его. «Никто не сойдёт на берег, пока не обогнём мыс Бурь, даже если на это уйдёт вечность! Клянусь дьяволами всех морей!» Вечность получил он в наказание за богохульство. Но чем виновны матросы? Чем виновен трёхмачтовый клипер? Давно уже нет на борту матросов. Их кости до ослепительной белизны отмыло море. Давно в клочья изорвались паруса, но бег корабля никому не дано остановить. Мы могли бы! Но я не сумел убедить никого в том, что ты существуешь…

Не верящие ни в Бога, ни в Дьявола, болтавшиеся в морях уже больше полугода в сплошном тумане, мы чуть не столкнулись с тобой, Летучий голландец! Ты возник справа по борту, ты был почти рядом, твои мачты не несли опознавательных навигационных огней, лишь светящаяся дымка прорвалась сквозь толщу тумана. Мы услышали заунывные звуки, похожие на жалобный плач, нам показалось, что само море тяжело и прерывисто вздыхает. Мы дали несколько пронзительных гудков, мы спустили с борта дополнительные кранцы и были готовы баграми оттолкнуть тебя, когда внезапно ты исчез, растворился в уже начавшем редеть тумане, быстро, как сахар в кипящей воде. «Это корабль-призрак!» — воскликнул я. Но никто не хотел мне верить. «Это мурманчанин, — сказал наш капитан, — он идёт на промысел, и на нём ещё не кончилась водка!» Я мог бы возразить: разве на рыбацких судах бывают такие высокие мачты? Но я не имел права спорить с капитаном. Ведь мы сами давно уже стали призраками. Рыбные косяки слишком далеко завели нас. И мыс Горн был на нашем пути.

Ионы

Мы так долго скитались по морям, что выцвели на переборках кают фотографии любимых. Все свои сны рассказав друг другу, мы превратились в одно существо. Очередная волна возносит нас вверх и, словно решив, что мы не достойны неба, низвергает в пучину. Но и воды не принимают нас. Мы забыли имя своего судна. Соль выела буквы на борту. Ветер истрепал все флаги. Мы пропахли рыбой и аммиаком и отрастили бороды, как у древних пророков. Ни один порт не даст добро на нашу стоянку у причала. Иона — наше имя. Мы не желаем идти в библейскую Ниневию и призывать к очищению от грехов. Нас не пугает чрево кита. Возможно, он давно проглотил нас. И вос-

ходы и закаты выдуманы нами. А визг лебёдок и тралы, переполненные рыбой и вползающие по слипу, — всего лишь въевшиеся в память повторы. Трюмы наши забиты доверху. Лишь мукомолка — рыбий крематорий — продолжает изрыгать приторный дым. Посыплем головы тёплой рыбьей мукой и раздерём свои истлевшие от пота одежды. Не будем искать виновных, чтобы выбросить за борт, мы все — ионы. Мы, не возвратившиеся в срок, обрекаем на блуд своих жён. Они устали стоять на причалах с высохшими цветами в руках. Утрачен счёт дням. Страна, где находится порт приписки, сменила название под надоевшие такты «Лебединого озера». Она обрела свободу, которую мы искали в морях. Сумеем ли мы поведать о том, какие ветры рождает свободная стихия? Мы давно разучились говорить и объясняемся жестами. Да и жестов нам много не надо. Ведь мы одно существо. И не можем различить — кто же у нас капитан. Ведь только он знает путь в Ниневию.

Клип для счастливых собак

Ослепительная синева неба. Стекло и розовый камень, добытый в горах Гелвуя. Белые стены отелей. Утомляющая жара пляжей. Автобус вкручивается в горы по кольцевой дороге. Мерседес отстал. Горные козлы скачут с камня на камень. «Какая библейская тоска! — вздыхает первая леди Англии. — Хочу в Кёниг». Пытаются отговорить: «Там морось, отели без удобств, рытвины на дорогах». Бедуин выбивает пыль из шкуры убитого им льва. Верблюд опустился на колени, ожидая туристов. Песок раскалён солнцем. Мерседес мчит леди в аэропорт.

В Кёниге готовится к перелёту Герда. Выяснилось окончательно — её берут. Сделаны прививки. Можно не беспокоиться. Но все мышцы напряжены. Короткий хвост дрожит. Боится клетки. Только и разговоров из-за этой клетки. Теперь, казалось бы, радуйся! Можно и без клетки. Выписали паспорт. Фото моментальное, халтура. Сама на себя не похожа. «Все мы на себя не похожи, — вздыхает хозяйка и смахивает слезу. — Только бы ничего не забыть. Пора. Куда-то задевался намордник. Могут не пропустить на таможне». Ночь в темноте багажника, давка на трапе. И вот — самолёт летит над горными уступами. Сверху видны клубы пыли. Это не пыль — поясняет стюардесса. Талибы стреляют из реактивных миномётов. Генерал Дустум с утра ничего не ел. Усы в извёстке. Слушает новости по миниатюрному приёмнику.

Леди едет в Раушен. Азербайджанцы обступили мерседес. Водят носами по лобовому стеклу. Поэт, не знающий немецкого языка, переводит тирольские песни. Прибой набегает на берег. Звенит янтарь, выбрасываемый на песок. Леди сдувает пену с кружки. Поэт тоже хочет пива. От пива побаливает печень. Необеспеченная старость. В Англии лорды получают большую пенсию. У нас стариков сбрасывают с обрывов. Как в Чечне, когда выселяли. Леди возмущена. Мы здесь ни при чём, объясняет поэт, это до нас. А развалины Грозного? — намекают азербайджанцы. Им отвечают: «Нет таких крепостей, которые не могли бы разрушить большевики!» Страна изуродована, как черепаха, на которую наступил слон. Дустум кричит в горах талибам: «Я вас разделаю, как Бог черепаху!» Нет ответа. Эхо запретили, безнадёжно врёт. Повторяет два-три раза то, что сказано единожды. Как будто пере-

водит стихи. Сплошная отсебятина! Горы подпрыгивают, словно раненые козлы. Талибы разбегаются. Стадо баранов, понуро бредущее на заклание. Вертела для шашлыков несут, словно копья, люди Дустума. В Кёниге страсти не хуже... Первая леди проглотила презерватив. Операция по удалению. Собрали консилиум. Вокруг сплошные папарацци, даже поэт со старинным кодаком. Сейчас вылетит птичка. Фотографии первой леди — доллар за штуку. В неглиже.

Горные козлы хохочут. Подрагивают бородки. Один похож на бывшего совкового старосту. Рог сломан. Попал в безвременье.

Нужны часы, показывающие израильское время. Не два часа, а около двух. К чему точность, когда отсчитываются века? Иерихон самый древний город на земле. В Хевроне пещера с прахом патриархов. Герда, затаившись, слушает седоусого лётчика. Хеврон отдали арабам. Сидят, курят, ждут туристов. Шасси самолета выпущено, тугие колёса касаются земли обетованной, текущей молоком и мёдом.

Герда предъявляет паспорт на таможне. Вопрос? Говорят на иврите. Нужен переводчик. Высылка в Россию чревата неприятностями. Дом продан, жить негде, разве что на Литовском вале. Там ходят раввины. Ищут могилы. Обнаружили. Вязь иврита — но графский герб: скрещённые шпаги... Принесли заступы. А вдруг это останки царской семьи? Радзинский всхлипывает от восторга. Ребёнку и ежу ясно — все наши цари с примесью немецкой крови. А также еврейской.

— Сдайте слюну на анализ. — Это требование к Герде. Она возмущена. Собаки не болеют СПИДом. Я девственница! Никто не верит. В аэропорту уставились на большой экран. Там пикеты на рельсах. Забастовки авиадиспетчеров запрещены. Шахтёры положили каски на рельсы. Сидят, играют в карты. В буру или в подкидного? По телевизору не разберёшь. Таможенник говорит на иврите: «Ло бесседер*». Герда испугана, возмущена: «Я вам человеческим языком объясняю, все мы, пудели, имеем еврейские корни. Фотографию в паспорте никто не подменял. Вот сейчас хозяин похмелится и разберётся с вашими арабскими штучками!»

* Непорядок

Горный козёл сорвался, ободрал бок. Мог остаться без последнего рога. Спасли талибы. Жаждет вернуться на родину предков. Что он там забыл? На горе Гелвуй ничего не растёт с тех пор, как здесь пролилась кровь Саула. Пустыня отвратительно пуста. Раскалены камни. Плюнешь на камень — слюна вскипает. Кости павших высохли, светятся голубизной. Под луной всё блестит. Камень вокруг — сплошной камень.

Герда объясняет непонятливому стражу таможни: «Не хочу жить в пустыне, о каких однорогих козлах может идти речь? Меня водили на случку — пустая затея. В Хайфу хочу!» Переполнено. Понаехали бахайцы. Все с собаками. Нужны кошки для Иерусалима. Есть одно место в Бершеве, по-русски — в Вирсавии. Конечно. Вирсавия. Та, что соблазнила Давида. Оголилась на крыше дома своего. Будет жарко. У вас много шерсти...

Жара сменилась безудержным ливнем. Разверзлись хляби небесные. Все следы смыты. Из аэропорта имени Бен-Гуриона сбежала собака. Порода — пудель. Девственница. Выдаёт себя за еврейку. Курчавая. Джипы мчатся сквозь пелену дождя. Козёл с одним рогом упёрся рогом в каменистый уступ. Тому, кто найдёт собаку, обещано вознаграждение. В шекелях...

Дед ищет не там. В Кёниге на лугу пошёл собирать грибы. Набрал корзину — половина гнилые. Парк Макса Ашмана загажен. Где чинно прогуливались бюргеры, лелея фашистские планы, бегают брошенные собаки, за исключением Герды. Она невозвращенка.

Счастливая Герда, думает дед. Ложится на траву, не сдерживая слёз. Здесь помру, мечтает. Деревья кругом. Военным выдали сертификаты на жильё. Приезжал Немцов. Ему показали стриптиз. Был доволен.

Поймали глупую овечку. Решили принести в жертву. Бедная овечка. От страха вспотела. Всесожжение. Какая глупость! Сжигать надо только жир. Тук его называют. Так делал ещё Моисей. Остальное на вертела. Наденьте талес. Для каддиша нужно десять мужчин. Помрёшь — и некому отпеть. Где их взять столько? В ночь Хрустальную всех порешили. Битое стекло магазинов под луной словно хрусталь. Зато теперь поставили «комки» на освобождённом пространстве. Кавказцы меняют валюту. Подсовывают куклу. По рукам? Все довольны…

Генерал Дустум улыбается в свои дурацкие усы. Придумал казнь, которой ещё никогда не было. Тоже доволен. Докладывают: поймана собака. Кудрявая. Возможно, из пуделей. «Еврейская порода!» — возмущается генерал, усы топорщатся, как у кота. Наши пограничники начеку: «Отдайте собаку! У неё двойное гражданство! Отдайте, а то хуже будет!» — «Опять вторжение?» — испуганно сопит генерал Дустум.

Приводят беженку. Это не она, догадывается Дустум. Но тоже хороша. Тройное гражданство. Играет бёдрами, не стоит на месте. Заголяется. Талибы закрывают глаза. Приёмник включён на всю катушку. Скоро объявят победу. Громче, музыка, играй!

Шахтёры сошли с рельсов и едят бутерброды макдональдса. Прислал Зюганов. Несёт бутылку Лужков. Приехал Сысоев. Привёз чемодан баксов, отобранных у банкиров. Заслушаться можно. Недаром все возвращаются, думает Дустум. А в это время таджикскую границу переходит еврейская собака. Граница, как всегда, на замке. Герду допрашивают. Поэты похмеляются. Читают друг другу переводы. Ивритом и не пахнет. Таджикский только с подстрочником. Сплошной дойтч. Застрелиться можно. Начальник заставы тоже переводит. Горный козёл сломал последний рог. Никуда не деться. Продолжается допрос. Герда лижет руку пограничника. Где патроны? Патронов нет. Все проданы талибам. «Я расскажу всё Ксении!» — возмущается Герда. Начальник заставы обмочил галифе. Жара. Моча быстро сохнет. Соль выпаривают. Продают талибам вместе с миномётами. Дан запрос в аэропорт имени Бен-Гуриона. Махмуд заявил, что ничего не знает — никакой собаки не посылал. Если волос упадёт с её головы — он не отвечает. За волос туриста — да, это он обещал, за каждого туриста будет расстреляно не менее десяти…

Первая леди Англии захотела в туалет. После пива, естественно. В Калининграде нет туалетов. Народ живёт простой. Зачем ему? Для туристов? Пусть привозят с собой переносные биотуалеты. Нечего возмущаться. Вот, жила давеча благородная собака — пуделиха, утверждала, что еврейка. Сейчас все так говорят, лишь бы уехать. Так она выходила во двор — и спокойно все свои дела делала. А вы что, лучше? Откуда нам известно, что это первая леди? Не пудрите мозги. В Тель-Авиве я тоже не видел туалетов. Зато в Германии полно. На каждом углу. Немцы терпеть не любят, это дед говорит,

встал с травы, услышал про пуделиху. А думали глухой — бродит с утра по парку Макса Ашмана. Мы привычны, объясняет дед, если нету очереди, зачем и заходить, не получишь никакого удовольствия. Очередь в биотуалеты только у нас. Только во время фестивалей. Какое наслаждение, отстояв час, наконец-то войти в это царство голубого и зелёного сияния, к этим запахам от ароматизатора, встроенного в углу, к этой белизне, и со смаком опорожнить мочевой пузырь. Как сладостно всё булькает. Пусть торопят из очереди. Ничего не случится. Ждали долго — подождут ещё пять минут. Туалеты завезли недавно. На стенах ещё ничего не написано, не нарисовано. Есть чем заняться местным поэтам...

В Раушене поэт, прекративший переводить немецкие стихи, задумывается. Неумолчно шумит море. Он встаёт и бросает камень — параллельно воде. Как в детстве. Чтобы камень отскакивал. Называется «печь блины». Всё комом. Не получается. Чайки с криком носятся вдоль пустых пляжей. Вдали горы, заросшие соснами. Вокруг песок и ни одного горного козла. Большевики засели в кустах и ждут открытия нудистского пляжа. Запаслись цейсовскими биноклями. Ветеран революции теребит клочковатую козлиную бородку а-ля всенародный староста. Жена осталась в поселении. В вечной мерзлоте. Пустота кругом. «За что боролись?» — спрашивает ветеран. Кругом одни евреи — вторит ему партийный коллега. Завязывается партийный разговор. Слушали радио сегодня? Читали «Правду»? Нет. Вы что? И телевизор не смотрите. Сколько событий! Генерал Дустум обстреливал талибов! Шахтёры сошли с рельсов. Первая леди опять оскандалилась. Сбежала собака, говорят, что еврейка, пуделиха, пудельманша, Герда Исааковна... Опять происки сионистов. Клетки надо делать для собак, когда увозите их. А то надумались — положили в сумку. Она почти уже прошла таможенный досмотр, скинула намордник, испугала всех. А утверждают, что тихая. В ихнем омуте всё водится. Сплошной обман. Проскочила через границы. Дожили — граница теперь без замка. Талибов не сможем остановить. Все надежды на генерала Дустума. Поэт между тем медленно раздевается и пробует мозолистой пяткой холодную балтийскую воду. Окуляры биноклей направлены на него. Вода ледяная. Это вам не Хайфа. Большевики затаили дыхание. Поэт, отфыркиваясь, плывет в сторону Скандинавии.

Солнце погружается в Балтику. Горный козёл остановился на уступе. С вершины горы Кармель открывается вид на совсем другое море. Такая синева, что и не снилась. Вечером жара спадает. Кафель пола несёт прохладу. Герда смотрит в окно — дома как спичечные коробки, дороги уходят в горы. Вдоль дорог зажигаются огни. Светящиеся гирлянды растворяются вдали, исчезая за холмами Галилеи. Все страхи позади. Никто не попрекает происхождением. Счастливая Герда. В мире не так уж много счастливых. Поэт, охладивший свой пыл в ледяной воде. Дустум, разбивший талибов. Первая леди, дождавшаяся очереди и вступившая в сияющее царство биотуалета. Дед в парке Ашмана, отыскавший десять пустых бутылок...

Комната

В сердцевине большого города я застрял в каменном мешке. Нервно вздрагивают стёкла. Таджики закончили делать дорогу. Теперь эта асфальтовая река, делённая на две, несёт к окружной четырёхрядный поток машин. Тишины не дождёшься даже самой глубокой ночью. Комната на двоих. Возврат к коммуналке, к истоку. В молодости можно было писать на подоконнике, уходя в текст, словно во вторую реальность. Сегодня удобное вращающееся кресло и широкий стол не помогут. В четыре утра — машины замедляют свой бег. Зато начинают гудеть те, что застыли на стоянках. Вой сирен, отпугивающих автоугонщиков, пронзает тело.

Кот Тихон просыпается и начинает жаловаться на жизнь. Хвост трубой и пронзительное мяу. Он успокаивается, только допущенный к компьютеру. С малых лет приучен к мерцанию экрана. Утверждают, что коты не воспринимают двумерное изображение. Тогда почему он так внимательно вглядывается в текст, возникающий на экране? Мелькают точки. Он замечает мелькание. Если бы я был китайцем, коту жилось бы веселее. Иероглифы можно принять за мушек и начать охоту за ними. Иероглифов больше, чем наших букв. Их десятки тысяч. Мне бы такое количество! Но как они размещаются на клавиатуре? Сотнями на одной клавише. Тесно, как в китайской коммуналке…

В компьютере живёт другой мир. Можно спрятаться в нём, затеряться в текстах, среди файлов и чатов. Почта приходит моментально. Забыты конверты, ожидания, марки, почтовые ящики. Архаизм прошлого века. Ты шлёшь не только слова, но и фотографии. На одной из них твой рыжий кот, жёлтые глаза излучают зелёный свет. Он выставлен напоказ. Жаждущий встреч и никогда не видевший кошек.

Мой виртуальный африканский друг устал от жизни. От обилия кошек. Утверждает, что перевалило за сотню. В знойной Африке — под каждой пальмой дом и кров. Минимум одежды. У нас, пока разоблачаешься, проходит желание. У финнов тоже. Финская корреспондентка жалуется на финских мужчин. Они ленивы и нелюбопытны, как бы сказал Пушкин. Другой мой виртуальный знакомый живёт на Аляске. Ездит на нартах. Боится, что Аляску вернут России. Учит русский язык. Финка собирается поехать на Аляску. У неё никто ещё не вынул шило из одного места. Финки ездят по всему миру. Если уж ехать, то в Японию. Там живёт мой друг, который владеет целым островом. У японцев слишком мала территория. Этот остров он сделал сам. Покупал отходы в Китае, заливал цементом. Спрашивал у меня — нет ли лишних покрышек. Строит дворец из покрышек и бутылок. Горлышки бутылок направляет к западным ветрам. Получается поющий дворец. Глупый японец. Так нужна тишина, а ему подай ещё песни ветра. Я к нему не поеду. Но финку стоит послать. Кажется, в Японии она не была. С этими компьютерными связями можно сдуреть. Год переписывались с одним художником из Болгарии. Приехал на джипе — привёз сорок картин. Гостиницу оплачивать не хочет. Поживу на твоей вилле — говорит. Объясняю — у меня одна комната. Не хочет верить. Говорю — картины у нас никто давно не покупает — тоже не хочет верить. Обрадован — кругом полно восточных людей. Объясняю — это гастарбайтеры. Вот-вот, говорит, у них-то денег мешки. Пришлось отдать ему последние сто долларов.

Все стены моей комнаты увешаны картинами. Обои менять не надо. Иногда лишь перевешивать или заменять творения известных художников. Одних моих портретов с десяток. На одном я изображён в виде нескольких квадратов. Это опус одного из очень известных новозеландских художников. Это копия. Оригинал выставлен в Париже, в галерее Моро. Проверить невозможно. Я до сих пор не был в Париже. Увидеть Париж и умереть — это не для меня. И Париж стоит обедни — это тоже не для меня. В Париже живёт родственница, племянница. До сих пор не получила гражданства. Сидит на бульваре и рисует заезжих туристов.

Мир тесен. Однажды в Париж приехал из Новой Зеландии художник, изобразивший меня в виде квадратов, и там встретился с моим знакомым японцем, который имеет остров из бутылок и покрышек. Их нарисовала моя племянница и прислала мне свою работу. Я сразу узнал обоих.

Мой портрет в парижской галерее вряд ли воссоздаёт меня. Хотя новозеландский художник уверял, что сходство почти абсолютное. Он рисовал меня в Аренсхопе. Есть такой городок на севере Германии, городок у моря, где с десяток домов творчества и художников полно. Меня там поселили в длинной комнате с длинным белым столом, на котором я смог разложить свои рукописи. Там была абсолютная тишина. Было даже слышно, как жужжат стрекозы. Новозеландский художник долго измерял рулеткой мою комнату и рисовал мой портрет целый месяц. Два квадрата на белом фоне выглядят совсем неплохо. У Малевича один квадрат, а тут целых два. Прогресс налицо.

Только в моей жизни нет прогресса, я живу всё в той же одной комнате, и поток машин на моей улице становится всё больше. Я затыкаю уши ватными тампонами. Но даже они не в силах погасить гул большегрузных фур, идущих от границы.

Кот Тихон сидит на принтере и зевает. Не может уснуть от рёва машин. А может быть, читает то, что я сейчас пишу. Котов невозможно раскусить сразу. Он прибыл из страны обетованной, где котов и кошек не очень-то любят. Там ходят они, облезлые, тощие и голодные, по древним улицам и плачут кошачьими слезами. Кота привёз мой школьный друг, который не выдержал тамошней жары и скитаний по пустыням. Когда мой друг прямо с аэродрома приехал к нам и позвонил в дверь, я дописывал очередную свою повестушку. Концовки не мог найти. А тут вижу — стоит мой друг и держит в руках клетку, а в клетке запуганный голодный и мокрый кот. — Это вся твоя движимость и недвижимость? — спросил я. — Нет, — ответил он, — есть ещё хомячок. Эти фразы и стали концовкой моей повести. Хомячок живёт на кухне. У него своя клетка. Своя тюрьма, но зато защищён от кота. Мой школьный друг в бывшем моём кабинете. А кот на компьютерном столе. Иногда он ложится на диван под бок к хозяйке и мурлычет ей любовные песенки. Теперь-то у него совсем другой вид — он большой и пушистый и очень важный, воображает, что мы и живём-то только для того, чтобы кормить его китекэтом, причёсывать и ласкать.

Только вот к грохоту и шуму за окнами кот тоже не может привыкнуть. Он старается перемяукать гул машин. Зовёт кошек. А кто его услышит?

Кот прячется под диван, закрывает глаза и вспоминает тишину пустыни. Я не могу влезть под диван, не помещаюсь я там.

В каменном мешке комнаты, затерянной в большом городе, мы оба — пленники. Скоро сюда прибудут сотни тысяч переселенцев, чтобы постро-

ить небоскрёбы. Сами же они будут жить в юртах. Юрты кольцом окружат город. Возможно, посланцы казахских степей привезут с собой кошек. Не плачь, Тихон, ещё не всё потеряно.

Одиссей

Отказываюсь от соблазнов и наслаждений. Привяжу себя к стулу, как Одиссей к мачте корабля аргонавтов, залью свои уши воском, чтобы мир существовал только внутри меня, чтобы там, в глубине души, рождались ещё никем не услышанные мелодии. И если попрошу отвязать меня, не слушайте, а ещё крепче стяните ремни на моих руках. Мой корабль попал в безветрие, и его затягивает в пролив между островами, между Сциллой и Харибдой. Я не слышу пения сирен. Но чувствую, как волна наслаждения набегает на меня. Воск тает в моих ушах. И открываются мои глаза. Я вижу не сирен с телами женщин и когтистыми лапами, это призрачные сиреневые женщины сошли с полотен горбатого гения. В платьях с кринолином они таинственны, как летние облака. Они меняют формы и цвет. И я слышу чарующую музыку и сладкозвучное пение.

Я столько раз обманывался в жизни, и всё равно ничему не научился. Как Одиссей, предупреждённый Цирцеей, я тоже предупреждён Гомером. Я знаю: эти обманчивые женщины, поначалу прекрасные, сейчас превратятся в сирен. Они сидят на цветущем лугу посредине скалистого острова. Я забыл залить воском свой нос. Дразнящий запах цветов и женской плоти проникает в меня. Господи, огради, шепчу я. Ремни вот-вот лопнут на моих плечах. Смерть за ночь любви — об этом я тоже предупреждён. Неповторим их облик, распущенные золотистые волосы волной ложатся на смуглые плечи. Когтей не видно, они скрыты цветами. Когти, которыми они растерзают того, кто соблазнится их пением и телом. Не таков ли был Бут — похотливый аргонавт, забыв всё на свете, он бросился в море, едва заслышал призывные звуки. Устоять невозможно. И тогда, чтобы спасти аргонавтов, Одиссей берёт лиру и поёт свою песню. Она ведь тоже прекрасна. Даже сирены смолкают. Могу ли я запеть? Я, лишённый голоса и слуха. Внутри меня рождается мотив, который невозможно записать нотами. У меня есть только слова, чтобы объяснить вам — даже привязав себя к мачте, даже залив уши воском и заткнув нос, даже зажмурив глаза, невозможно уйти от мирских соблазнов. Мы сами порождаем их из снов и своих фантазий. Кости погубленных людей усеивают придуманные острова. Разбитые сердца заполняют пещеры. И не смолкает пение сирен.

Пробуждение

Окутанный пеленой сна, в какие-то мгновения проживаешь длинные мучительные годы. Холодный пот проступает на лбу. Сейчас свершится непоправимое, и ты ничего не можешь сделать. Ты не волен изменить сон. А возможно, это вовсе и не сон. Вот тебя ласкает женщина. Рыжие завитки волос пахнут полынью. Ты знаешь, как хрупко счастье, ты знаешь — сейчас она исчезнет,

растворится в наполненном зноем воздухе. Ей грозит гибель, которую ты не можешь предотвратить. Ты кричишь, широко открывая рот, но никто тебя не слышит, ведь ты не издаёшь ни звука. Руки налились свинцом. Тебе уже нечем дышать. Сердце сдавило. Тебя окружают со всех сторон. Люди, перед которыми ты виновен. В чём твоя вина — неясно даже тебе самому. Велят раздеться и стать к стене. Надо сопротивляться. Надо ущипнуть себя, чтобы прекратить кошмар сна. Проткнуть его тонкую призрачную оболочку. Очнуться и обрадоваться наступившему утру. В полудрёме возвратиться в обычную жизнь. А вдруг — её нет, нет вовсе этой обычной жизни. Просто она приснилась когда-то. Ты прервал надоевший сон и очутился в бездне страданий. Нельзя ничего прерывать насильственно. Проткнёшь оболочку сна — и очнёшься в ещё более ужасном мире. Но что может быть ужаснее — ожидания пули возле саманной стены? Это же целинный барак, вспоминаешь ты. Это всё уже было. Пьяные комбайнёры, закончив уборку, разбивали свои комбайны о стену барака. Чтобы не достались казахам. Тогда ты встал на их пути. Не повторяй ошибку дважды. Та, другая жизнь — вещий сон. Пусть сильней разгоняют свои машины. Стена должна рухнуть. Ты приготовился к прыжку. И рыжая женщина парит над тобой. Весна Боттичелли дарит свою улыбку. Конвоиры задрали головы вверх. Стена беззвучно оседает, вздымая степную пыль. Какое счастье, что ты не прервал сон. Ты ведь мог очнуться совсем в другом времени, там, где нет надежд на спасение. Ты мог очнуться в огне Варшавского гетто. Или в городе Красном на Смоленщине восьмого апреля сорок второго года, где твоего двойника — спрятанного младенца, выволокли из люльки и ударили головой об лёд. У него были твои имя и фамилия, его убитых родителей звали так же, как и твоих родителей. Тело мальчика разрубили на куски и кинули собакам. Здесь же, в твоём сне, хотя и царит степная жара, ты свободен. Ты бежишь босиком по траве, бежишь на встречу со своими друзьями. Они давно уже живут в этом сне и объясняют тебе наперебой, как опасно пробуждение.

Сочастие

На перекрестии дорог, раскинув руки, лежу, не узнанный вами. Головой к северу, ногами к югу. Так заповедано. Ибо когда Мессия призовёт, встану и пойду на землю обетованную. И не надо будет мне поворачиваться. А пока глаза мои прикрыты и ни один мускул не дрогнет. Муравьи ползут по проторённой тропе на теле моём. Паук сетью оплетает мой рот. В волосах моих вьёт своё гнездо беспокойная птаха. Карманы мои давно вывернули добрые люди. Ничего не хочу слышать, ни с кем не хочу говорить. Услышанное лишь умножает печали. Словами не исправишь мир и никого не спасёшь. Погружаясь в себя, открываешь тайны своей души. Рассасывается наслоение обид, и меркнут запоздалые раскаяния. Лишь страдания униженных предков переполняют меня. Травы и воспоминания прорастают в меня. Машины объезжают меня, и пешеходы перешагивают через меня. Никто не хочет наклониться и нащупать мой пульс. Моё сердце медленно, но бьётся. Кровь пульсирует в висках. Никто не догадывается об этом. И я замер, чтобы не выдать самую главную тайну — я ещё жив. Ночью, приоткрыв глаза, я вижу мерцающий свет звёзд, я слышу шорохи ночных трав, я чувствую дыхание

остывающей земли, я пытаюсь согреть её остатками своего тепла. В мои сны приходят покинутые мною друзья и вереницы измученных людей на краю кровавых рвов. Я сплю чутко. Я должен услышать призывные трубные звуки. И тогда я встану, отряхну песок и землю с тела своего и приду к Тебе, Господи. И спрошу: ужели не слышал Ты отчаянных молитв стариков и предсмертных криков детей в газовых камерах Аушвица?

Alter ego

Упала ночь на измученную заботами землю и накрыла мантией снов. Глаза завязала плотно, без просветов. Маленькая репетиция смерти, повторяющаяся постоянно. Только в вязкой тишине можно осознать своё бессилие. Потраченные слова не возвращаются и никого не могут вернуть к жизни. Бесплодные симулякры бродят по желтеющим страницам. В который раз Анна Каренина бросается под поезд и умирает от любви несчастный Вертер. Клонировать себе подобных — утомительное занятие. Блеяние овечки Долли — не насмешка ли над её создателями? С завязанными глазами в абсолютно чёрной комнате попробуйте отыскать соучастника. Бесполезно рыскать руками. Он внутри вас. Выдавить его из себя не удастся. Он прельщает утопиями, наслаждениями и дарами, он нашёптывает о вашей исключительности. В рассветные полусны возвращает любовь. Он сам поймал вас, можете развязать глаза и начать новый день.

Ныряльщик

Вода запоминает твоё тело. Водоросли ласкают кожу. Стайки мальков щекочут пятки. Воздух в лёгких на исходе. Пора выныривать. Лёгкое движение рук — и тебя выталкивает на поверхность. Море выстрелило тобой. А ты судорожно глотаешь воздух. Какой он сладкий и живительный. Желанный, как арбуз в пустыне. Берег проступает в оранжевой дымке. Лечь на спину и увидеть ослепительную голубизну небес. И закрыть глаза. Тогда возникает бескрайняя степь, и можно почувствовать запах полыни. Гниют водоросли на берегу. Глухо гудит вдали невидимый пароход. Волны гонят тебя к берегу. В песке, раскалённом солнцем, ты возвращаешь телу желанное тепло. На тебя смотрят с недоумением лежащие на пляже. Откуда ты взялся? Стоит ли объяснять, как на рассвете ты поплыл что было сил в сторону ускользающей линии горизонта, разделяющей мир воды и мир воздуха. И когда руки перестали слушаться и ноги стало сводить судорогой, ты нырнул, пытаясь достигнуть дна. Сколько раз мысленно ты позволял воде заполнить лёгкие. Ласка воды отменяла решение. Безвольный, ты брёл по мелководью туда, где стояли шезлонги. Горячий песок возвращал видение города. Небоскрёбы на берегу залива нанизывали облака на венчающие их готические шпили. Розовый миндаль рос на площади. Сверкание воды в струях фонтана подтверждало близость моря. Это было совсем другое море — изумрудное и тёплое. Аквалангисты и рыбы прошивали ластами и плавниками его глубины.

Там, из садов разноцветных кораллов, ты не стал бы выныривать. Открываешь глаза. Воткнутый в песок окурок перестаёт быть небоскрёбом. Облака тёмным занавесом надвигаются на солнце. Песок становится прохладным. И наступает ночь, в которой тебе нет места.

Пилигрим

Только в чужой стране можно остро почувствовать, как ты одинок в этом мире. Незнание языка делает тебя глухонемым. Толпа обтекает тебя, ничего не требуя и не спрашивая ни о чём. Ночной Берлин невозможно отличить от ночного Амстердама. Ты становишься невидимым в слишком ярких огнях реклам и уличных фонарей. Наступает тот высший предел света, когда, попав в луч прожектора, ты исчезаешь, как мотылёк, залетевший на огонёк свечи. Испытай ещё раз одиночество пилигрима. Ты не нужен даже проституткам, они понимают, что тебе нечем заплатить за любовь. Ты долго не можешь выбраться из метро, подземный мир грязен и неуютен, он лишён ампирной роскоши московских станций. В его закутках прячутся отверженные, греются бездомные, снуют сутенёры. Они видят в тебе чужака. И пытаются выпроводить наверх. Туда, где поезда подземки повисают над городом. Сверху площади города кажутся пылающими озёрами. Осторожно — двери открываются. Возможно, завсегдатаям берлинского метро выданы парашюты. Ты один вывалишься в пространство, заполненное липучей темнотой, и притягивающий огонь площадей станет той светящейся точкой в конце туннеля, которую дано увидеть каждому, завершающему свой путь. Душа, как бабочка из кокона, сумеет вовремя отделиться и полетит в небе над Берлином, как известный актёр в самом известном фильме. Разве ты не видел «Небо над Берлином»?

Не удивляйтесь, не видел — я сейчас сам внутри этого фильма. В предрождественские дни, когда все готовятся к гостевым визитам, мне некуда идти. В многочисленных витринах, в огне электрических свечей выставлены новогодние дары. Волхвы склоняются над золотистыми колыбелями. Они ведь тоже были пилигримами. И если бы не Вифлеемская звезда, что бы они делали со своими дарами? В чужой стране, на караванных путях, где кости незадачливых путников становятся белее бумаги. Верблюды, лишённые ездоков, хрипло трубят о свободе. Они тоже пилигримы. Торговцы, изгнанные из храма, напрасно пытаются их приручить. На Александерплац за длинными столами, словно в президиуме, уселись торговцы орденами. В рождественские вечера хорошо получать не только подарки, но и ордена. Все обойдённые в прошлой жизни, все незаслуженно забытые смогут прикрутить к лацканам своих пиджаков кресты и звёзды за особые отличия. Их героизм заключён в том, что они выжили. Пилигримы, вытащившие счастливый жребий, сидят в уютных кафе за столиками среди искусственных ёлок, сверкающих серебряной мишурой. Отблески ёлочных игрушек отражаются в чужих орденах. Пилигриму не нужны награды. Все награды он готов променять на право взойти на борт парусной шхуны и отправиться в неизведанные края. Попутный ветер и не слишком волнистое море — это ли не лучшая из наград? Парусник, лишённый рокота двигателей, убаюканный пространством, не

есть ли модель земного рая? Вместо парусника тебе предлагают такси. Не отказывайся. Осталось всего два часа — и стрелки сойдутся на двенадцати. Шофёр удивлён. Но ты не можешь объяснить ему, что у тебя нет ни одного адреса. Даже блудный сын знает, где расположен отцовский дом. Пилигрим не носит в кармане записной книжки. Он хочет вырваться из ночного города. Наконец-то поезд метро привозит его на конечную станцию. Он покидает пустой вагон. Станция тоже пуста. Он кричит — от испуга или от радости — никому не дано понять, от чего. Да и никого нет вокруг. Лишь летучая мышь бьётся под каменными сводами, испуская недоступные человеческому уху ультразвуковые вопли. У входа в туннель паук свил свою паутину. Концентрические круги вырывает из темноты прожектор вылетающего из тьмы поезда. Счастливый паук ничего не слышит. Глухота паучья — лучшее спасение от страха. Ты тоже ничего не слышишь. Там, наверху, оркестры играют венские вальсы, гвардейцы почётного караула стучат прикладами ружей, звон бокалов перекрывают тирольские песни, в твоей далёкой стране бьют куранты. Ты ничего этого не слышишь. Так начинается ещё один год, и хронофаг уже готов заглотить его, как удав кролика, чтобы потом долго переваривать в зловонном нутре безымянных дней. И только пилигрим не подвластен времени. Он ступает на палубу океанского лайнера и с состраданием смотрит на тех, кто прикован к земле.

Песочные часы

Я ощущаю, как во мне переливаются песочные часы. Бесконечность неба втягивается в глубины вод. Песок медленно льётся в узкую воронку. Не сыплется, а именно льётся. Каскады преображают ручьи. Вода с тихим шелестом ниспадает к корням деревьев. Лианы оплели вековые дубы. Кольца на срезах хранят застывшее время. В суровом ботаническом саду на берегу моря нежным розовым огнём вспыхнул миндаль. Японская магнолия засыпает траву хлопьями белых лепестков. В щели между стенами домов и булыжной мостовой вырываются красные тюльпаны. В каждом дворике на крохотном зелёном пространстве умещаются столик и кресла. Жизнь, сжатая камнем. Груды гальки вместо песка вдоль полосы прибоя. Камни, отшлифованные волнами, нежны и гладки. Время замерло в них. Разрушенные каменные арки превратились в знаки вопросов. Радость сущего в его бесконечности. Песок в часах заканчивается. А всё остаётся. И переливы моря, и перезвоны колоколов, и цветущие сады. Можно, конечно, перевернуть песочные часы и снова начать отсчёт. Но это не в твоей власти.

Елена Георгиевская

Родилась в 1980 в г. Мышкине Ярославской области. Участник литобъединения «Неоновая литература». Лауреат премий журналов «Футурум Арт» (2006) и «Вольный стрелок» (2010). Стипендиат Министерства культуры РФ (2010). Книги прозы «Луна высоко», «Диагноз отсутствия радости», «Место для шага вперёд», «Хаим Мендл», «Инстербург, до востребования», «Форма протеста» (все — «Franc-tireur USA», 2009), «Вода и ветер» (Москва, 2009). Публикации: журналы «Нева», «Литературная учёба», «Футурум Арт», «Дети Ра», «Волга», «Волга — XXI век», «Урал», интернет-издания, коллективные сборники и др.

Тьма тьмы

От предыдущей жизни Илону спасали мелкие детали, на которых, как известно, и принято фиксировать женское внимание: льняное полотенце, совсем не использованное, но за годы лежания в бабушкином чемодане истончившееся, словно кожа на старом лице; сухие ветки синеголовника в вазе, вырезанной из куска дерева; тёмно-зелёный рисунок на обоях в возвращённом доме. Что до покинутого жилья, то внутри оно было покрыто белой декоративной штукатуркой — ни тебе бумажное сердечко пришпилить, ни плакат. Пустые стены, техника и постель в полкомнаты. Илоне стало казаться, будто здесь то ли прозекторская, то ли тайная лаборатория, замаскированная под квартиру малообщительного программиста. Однажды ей приснилось, что белая простыня срастается с матрацем и превращается в пластиковую разделочную доску. «Ты слишком нервная», — сказала Ольга. Если раньше она произносила эту фразу усталым понимающим тоном, то сейчас её голос звучал безынтонационно, знакомый голос, ставший ничьим. Илона ушла в ванную, открыла кран. *Вода уплотнялась, оборачивалась вокруг шеи, словно ткань, словно на тебя натягивают одежду, которая сотрёт с тебя всё женское, а потом — оставшееся человеческое.* «Я так больше не могу!» — крикнула Илона.

— Опять переключатель сломался? — равнодушно спросила Ольга. — Давай починю.

— Нет, — вымотанно ответила Илона. — Я. Вообще. Здесь. Не. Могу. Я не знаю, что с этим делать.

— Делай что хочешь. Иди к психотерапевту. Собирай себя в кулак. Или собирай вещи. Никто не держит.

Илона обернулась к окну. За стеклом висел мёртвый паук. Если смотреть сквозь слёзы, крест на его спине постепенно расплывается: свастика, шестигранник, пятно Роршаха.

— Да, пожалуйста, уходи, — добавила Ольга. — И свои чашечки с лилиями не забудь — нечего захламлять мою квартиру.

Теперь всё в порядке, сказала себе Илона, глядя в зеркало. Да нет, б..., не в порядке: у Ольги, которая на пять лет старше, первые морщины ещё не наметились, а ей, Илоне, уже не помогает ни ледяная вода, ни крем с эластином. «Вроде бы мужественным женщинам, как и мужчинам, долго сохранять молодость не обязательно, почему же природа так обошлась со мной и так обошлась с ней?» Илона замазала круги под глазами тоном от *Estee Lauder*, присмотрелась к себе и повеселела: всё не так плохо, да и зачем она, собственно, вспоминает эту идиотку перед свадьбой?

Жених в выходные возил её по магазинам, но ей ни одно платье не нравилось. Сегодня он был на работе допоздна, мать уехала в командировку, и Илона подумала, что так даже лучше: будучи предоставлена сама себе, она почувствует себя настоящей эгоисткой и сделает правильный выбор.

Она полистала журналы мод, заглянула в магазин знакомой — ничего нового; вышла из такси в соседнем районе и решила прогуляться от скуки. Лиловые и охристые немецкие дома, таблички: «Аптека», «Ювелирные изделия» и вот, наконец-то, «Свадебный салон». Сквозь стекло сверкал наряд в немыслимых рюшечках, с юбкой-кринолином. Вход — через подвальный этаж.

Посетителей, кроме Илоны, не было. Она прошлась по залу, рассматривая образцы. Женщина средних лет, дремавшая за кассой, встрепенулась:

— Какое платье вы хотите?

— Такое, как на витрине! — воскликнула Илона, словно превращаясь в наивную старшеклассницу, мечтавшую потерять невинность в первую брачную ночь при свечах.

— А вы знаете, сколько такое стоит? — прищурилась женщина.

— Я за него отдам что угодно, — засмеялась Илона. Из подсобки вышла другая сотрудница, задумчиво посмотрела на неё большими чёрными глазами.

— Вы такая красавица, — сказала она, — похожи на мою дочку. Давайте я вам бесплатно сошью. Долго ждали свадьбу?

— Очень, — ответила Илона, хотя ждала всего три месяца.

Через три дня она, не верящая своему счастью, забрала тщательно перевязанную коробку.

— Отметим? — предложила она жениху. Андрей неопределённо хмыкнул и завёл машину. — Пожалуйста.

— Я ребятам обещал на футбол, это самое, — отозвался Андрей, осторожно выруливая к бывшей кирхе королевы Луизы.

Илона стояла перед зеркалом. Сейчас ей казалось, что белая ткань плохо сочетается с искусственным загаром — чёрные кружева были бы уместнее. Но в целом ей нравилось. Она подошла к окну, чтобы задёрнуть шторы.

— Илона, — тихо окликнул кто-то. В доме точно никого нет, подумала она. В доме точно никого нет. Девушка обернулась к зеркалу. «Там, внутри, холодно, — прошептал кто-то за её плечом, — не уверена, что выдержишь, не приближайся». Вокруг головы Илоны в зеркале расплывалось чёрное пятно.

Илона проморгалась, отражение стало прежним. Она осторожно дотронулась до холодной поверхности и тут же отдёрнула руку.

Номер, состоящий из восьмёрок и единиц, — то, что надо было вспомнить, чтобы не свихнуться окончательно. «Алло», — ответил знакомый голос, и Илона поняла, что не может говорить.

— Алло, — устало повторила Ольга. — Вы номером не ошиблись?

— Да иди ты нах...! — неожиданно закричала Илона. — Из-за тебя я жить нормально не могу!

— И это всё? — задумчиво поинтересовалась Ольга. — Всё, что ты хотела мне сказать? — На том конце провода раздались гудки.

Зеркало оказалось на полу; очертания комнаты расплылись, и вот уже над головой была сплошная темнота, а под ладонями — лёд. Он медленно таял, было слышно, как в глубине под ним плещется вода. Навстречу Илоне со дна поднимались утопленники — зеленоватая кожа, серые лохмотья, оставшиеся от одежды. Илона поняла, что если не закричит, то через несколько секунд не сможет сказать уже ничего.

— Заткнись, ты, дура, — пробормотал Андрей, нашаривая выключатель, — мне в семь вставать. Ё...сь, что ли, совсем?

Илона не открывала глаза. Снаружи ползали пауки, их следы, различимые сквозь зажмуренные веки, были светящимися точками. Не хотелось смотреть на них ещё и с обратной стороны.

— ...и она такая вся, с белыми волосами, в розовой кофточке, подкатывает ко мне и от стола отталкивает. Типа, чего ты шефу глазки строишь. А я чё, терпеть буду? Я её тоже такая пинаю, она такая в слёзы: дайте мне на такси, я отсюда уеду и не вернусь.

— А на маршрутке не судьба?

— Да ты чё, она же у нас звезда!

Илона затушила последнюю оставшуюся сигарету. «Ты такая бледная», — участливо произнесла её бывшая одноклассница в белой кофточке и с розовыми волосами. У Илоны закружилась голова. «Я просто устала, я пойду».

— Оля, — сказала она, набрав во дворе кафе восьмёрки и единицы, — нам очень нужно встретиться, слышишь? Я больше ни с кем об этом говорить не смогу.

— Ладно, — после паузы ответила Ольга, — мы придём.

— Мы?!

— Ну да. Ты ведь понимаешь, что я не сижу в одиночестве.

Из проржавевшего жёлоба в яму на брусчатке натекла вода, под этой, летней, водой был лёд, под ним — пустая темнота или мёртвые люди.

— Оля! — крикнула Илона, и голуби испуганно вспорхнули с перил. — Приходи, пожалуйста, одна.

Теперь Ольга могла решить, что Илона замыслила плохое, и не явиться вовсе. Но через час она уже поджидала на перекрёстке.

— А зачем ты зашла туда? Я предупреждала, что не надо, ещё в прошлом году, когда все первые и подвальные этажи затопило, кроме этой лавочки.

— Я не помню, — растерянно ответила Илона. Подробности жизни с Ольгой стирались очень быстро, будто кто-то расчищал в её голове пространство для других, общественно одобряемых вещей. — А что, разве было какое-то наводнение?

Теперь было ясно: Илона пыталась бессознательно отомстить, сделав то, что Ольга не советовала. Завернуть за угол немецкого дома с тёмно-розовым балконом. Это всё, что сохранилось у неё в голове после ссоры.

— Они крадут голоса, — пояснила Ольга. — Ещё в начале тысяча девятисотых годов украли у одной девушки и приманили на него банкира, как ребёнка на пирожное. Банкир стал слышать по ночам самые безумные обещания, а закончилось тем, что под мостом во втором часу он передал неизвестным пачку денег — для революционных целей. Самой барышне голос был не нужен: она была слишком робкой, чтобы порвать с приличным окружением и пойти в актрисы, как ей хотелось. Так что добро, понимаешь ли, пропадало. Но это раньше они работали на принцип справедливости, сейчас измельчали. Возможно, они просто тебя пугают. Ради собственного удовольствия.

— А откуда ты всё это знаешь?

Ольга замялась.

— Это было очень давно, я не помню подробности.

— Вот и отлично, никто ничего не помнит. Не удивлюсь, если узнаю, что ты продавала им чужие голоса, а потом забыла, и за это они тебя не тронули.

— Да нет же, — сказала Ольга. — Мой голос — без пола и возраста, он всё равно что ничей, они не настроят его на нужный регистр. Я могу поселиться напротив них, каждый день мелькать перед глазами, и они будут обходить меня стороной. Верни им платье: если даже перед революцией они не дела-

ли ничего бесплатно, то сейчас тем более. — Илона хотела сказать спасибо, но телефон Ольги зазвонил, это была её подруга — наверное, не такая психованная, как Илона, и, наверное, привыкшая к удобной обуви и джинсам — не надо замедлять шаги рядом с ней, не надо часами ждать, пока она соберётся на вечеринку, и покупать для неё в аптеке пикамилон и глицин.

Илона обогнула здание с тёмно-розовым балконом и увидела на подвальной двери амбарный замок и объявление: «Сдаётся внаём». Рядом, на фонарном столбе, — полуоборванный листок: «Создание. Изменение. Ликвидация. 33-03-00». Девушка в отчаянии огляделась, махнула рукой и положила коекак перевязанный атласными лентами пакет на верхнюю ступеньку. С подоконника соседнего дома соскочила кошка и уставилась на Илону: глаза у неё были не жёлтые, а чёрные.

В стенах и потолке всё ещё оставались аккуратные прорези в виде геометрических фигур. Не бойся, сказал кто-то, это тьме вечно от нас нужно, а есть ещё тьма тьмы, ей нет никакого дела до нас. К ней можно прикасаться, это не страшно. Илона поднесла руку к небольшому чёрному прямоугольнику, светящемуся над головой, и он лёг в её ладонь, как холодный металлический брусок. Мгновение спустя его уже не было, а в ладони Илоны зияла чёрная прорезь. Почему я не чувствую боли, только ужас, успела подумать она. Вскоре она словно со стороны наблюдала, как её, бьющуюся в истерике, оттащили в ванную и сунули ей голову под холодную воду.

— Отстань от меня, — завизжала она, пытаясь вырваться. — Ты мне не нужен, оставь меня в покое, все оставьте меня в покое — навсегда.

— Ты, б..., дура, — ответил Андрей, — я столько денег потратил, да ещё на эту свадьбу чёртову занимал. П...ц.

— Тебя только деньги интересуют! — крикнула Илона, отбрасывая со лба мокрые пряди. Можно подумать, раньше это было непонятно, сказал кто-то со стороны. В зеркале не было её лица, только мыльные потёки и розоватые полосы, похожие на тонко нарезанное мясо.

Теперь не будет никаких свидетельств о браке, никаких посторонних, явившихся пожрать на халяву, никаких идиотских тостов, теперь спится спокойно, и никто не присвоит ни единого твоего слова. Наступила суббота. Илона надела хлопковую лиловую футболку, джинсы и кеды и снова поразилась, как легко и свободно в этом двигаться. Она попросила таксиста остановиться возле краснокирпичного здания с витиеватой надписью вдоль стены. «Давно вас не было», — сказал гардеробщик, которому она протянула свою почти невесомую ветровку и почти просроченную клубную карту.

Полутёмный зал был засыпан какой-то белой дрянью, кажется, пенопластовыми шариками, имитирующими снег, ходить по ним было неудобно. Как бы «зимняя» вечеринка — ну, хорошо хоть не кидались пригоршнями натурального песка. Илона допила мятный коктейль, медленно вышла на танцпол, закинула руки на плечи незнакомой стриженой девушке. Краем глаза она заметила сидевшую на подоконнике Ольгу.

Танец заканчивался, помещение заполнялось запахами конопли и яблочного табака. Илона приблизилась к Ольге.

— Привет, — сказала она, как будто накануне или год назад ничего не про-

изошло. — А где Юля? — спросила Илона, имея в виду последнюю Ольгину любовницу.

— В Варшаве, — равнодушно ответила Ольга, вертя в тонких пальцах бокал.

— Я скучала по тебе, — сказала Илона.

— У тебя все джинсы в этом ё...м конфетти, — сказала Ольга, — отряхнись.

— Я скучала по тебе, — повторила Илона.

— Ты ведь со мной не выдержишь, — улыбнулась Ольга, — зря ты это, совсем зря.

Илона подняла голову и увидела, что в клубе, кроме них, никого нет. Сквозь жалюзи можно было различить настоящий снег, сыплющийся в никуда. Земли нет, поняла Илона, только сплошная пустота. Ей показалось, что горло стягивают невидимой плотной тканью. Настоящий снег был и в помещении: то, что раньше выглядело как пенопластовая крупа, превратилось в желтовато-серые сугробы, они росли на глазах, на их верхушках обозначились собачьи морды. Они залаяли, готовые наброситься. Илона вжалась спиной в стекло, Ольга тряхнула её за плечи: «Очнись».

— Не надо было мешать спиртное с донормилом, — сказала Илона. — Извини, мне уже лучше.

Ольга вывела её на улицу, тяжёлая чёрная дверь лязгнула за ними, как собачьи клыки.

— Они здесь, — прошептала Ольга, — бежим, только не к проезжей части, там будет хуже, — дальше есть место, куда они не войдут.

Илона отчётливо слышала мужские голоса; странно, подумала она, раньше ей казалось, что преследовательницами были женщины — или они просто выполняли чужие распоряжения? Ольга схватила её за руку, и они помчались по тёмному проулку, сквозь чужие дворы. Илона была не такой выносливой, как подруга, и вскоре начала задыхаться. Фонари погасли, позади слышались угрозы и ругательства. На секунду Ольга выпустила руку Илоны, оглянулась и увидела клубы холодного серого дыма там, где недавно бежали люди. Вокруг неё было пусто.

Оставалось последнее. Ольга подбежала к серому одноэтажному зданию с заколоченными окнами. Дверь с треском распахнулась. Ольга исчезла внутри. Там было так тихо, что не каждый слух вынес бы такое.

Пол устилала стружка. Осколки стекла и обломки фанеры не шуршали под ногами, словно их совсем не было; второе окно, проделанное под самым потолком, было прямоугольником светящейся темноты. Делай же что хочешь, подсказал кто-то посторонний. Боюсь, я уже ничего с ними не сделаю, мысленно ответила Ольга. Значит, так было нужно, да? — Здесь ничего никому не нужно, напомнили ей, необходимость возникает только у вас, а здесь никого нет; иди посмотри. Уже рассветало. Чёрный прямоугольник пропал, возле заколоченного окна, словно висельник в петле, покачивался на паутинке дохлый крестовик.

Ольга достала из кармана платок, вытерла испачканные ободранные руки, вышла на улицу. Преследователей она обнаружила во дворе закопанными в грязь, так что видны были только головы, в полутемноте их лица выглядели одинаковыми. Под взглядом Ольги головы начали таять, и вскоре на месте захоронения были только две ямы с оплывающими глинистыми краями. Ольга прошла дальше, обогнула гаражи и увидела Илону: она лежала возле мусорных баков, из её горла торчали резиновые трубки: те двое забрали её голос, но не успели им воспользоваться.

Бей кошку облаком

Она превратила его в труп, но в труп
невиданно оживлённого свойства.

Роберт Вальзер

Вода вернулась в дом в тот же день, когда квартире № 1 обнаружили полуразложившееся тело сантехника. Хабалки радовались, участковый мысленно матерился: он не успел на праздник большого льда, который в этом году пришёлся на сретенье. Фотографии этого мероприятия можно увидеть в сети: насупленные баянисты в ушанках и тулупах и толстая раскосая баба в зелёном национальном костюме загораживают транспарант; из-за них наименование позорища можно прочесть как «большой ад», «больной люд», а то и: «больной даёт» — тут представляется перекосоё...й недугом, но всё ещё дееспособный ахтунг. Снимок обрезан ровнёхонько на «Россия, вп» — это надпись, которая следует за «больным дающим». Любишь ли ты Удмуртию, читатель, как люблю её я? Сантехник Шудегов её тоже любил.

Холодно, холодно. Если улыбаться, губы растрескаются. А впрочем, тут не Америка, чтобы все улыбались и т. д., только жидовская мразь с третьего этажа слушает непонятную музыку и показывает в улыбке плотные белые зубы, словно Америка здесь. На втором этаже старуха Судакова включает телевизор на полную громкость. Напротив цыгане врубают кавказскую песню «Чёрные глаза» — и всё это с раннего утра валится на голову сантехнику.

На лестничной площадке ссорились пьяные женщины. Шудегов узнал их по голосам: одна ещё молодая, но уже расползающаяся, как квашня, другая — увядшая и прокуренная, на ней кислотно-розовые носки.

— Я, б..., мыла площадку, а ты не мыла площадку. Тебе не противно ребёнка возить через говно каждый день?

— Да, б..., ты мыла! Шприцы с пола подобрала и положила на подоконник, будто в мешок было, б..., нельзя. И окошко открыла, а в него — х...сь голубь заразный, как это... как святой дух!

— Ты е...сь, что ли, коза сифилёзная?

Со второго этажа сползла старуха. Её губы, накрашенные советской оранжевой помадой, растянулись в хитрой усмешке. Судакова набрала воздуха в лёгкие и завопила: «Где ж вы, где ж вы, очи карие? Где ж ты, мой родимый край?!»

— Девочки! — заорала она страшилищам с площадки. — Это сейчас у меня плохая дикция, после автокатастрофы, где мне прикусило язык. А раньше она у меня была, как у диктора.

Тётка в носках тяжело вздохнула. Судакова дотащилась до ржавых почтовых ящиков и застучала по ним железной спицей, то по одному, то по другому.

— Я жила, не думая о многом! И печалиться мне было бы смешно! — заливалась старуха: её репертуар был весьма разнообразен. Шудегов прошёл мимо с мусорным пакетом, стараясь не смотреть в её сторону. Бабка обернулась и торжествующе закричала ему в спину:

— Что, гнида, всю молодость играл, а теперь не поёшь? А я нигде не играла, ни в каких ансамблях, мне тысяча лет, и я пою. Съел, сука?

— Пошла на х..., — чётко и раздельно проговорил Шудегов.

— Гнида ты, — по-девичьи звонко отозвалась бабка. — Я ещё всё твоё убью. Понял?

— Не понял. Иди и сдохни.

— Скорее ты сдохнешь. Ещё молодой, а совсем уже злой. Будет язва у тебя, инфаркт, паралич.

Шудегов захлопнул за собой тяжёлую дверь подъезда. Помойные голуби при виде него вспорхнули на ветку тополя и посмотрели оттуда внимательно и строго, как святое семейство — на грешника. Приближалось сретенье. Сквозь тонкий лёд просвечивал асфальт, сквозь асфальт — бездна. Небо напоминало российский флаг — синее, с белыми облаками и странным красным солнцем, какого в здравом уме и твёрдой памяти не увидит ни один человек.

Люсе Судаковой исполнилось сорок лет, но она была ещё яркой, крутобёдрой, красилась синими тенями и оранжевой помадой и накручивала ресницы на раскалённую вилку, чтобы те загибались на концах. В провинциальном совке считалось, что это круто. Другим продавщицам района это было слабо.

Муж выгнал Люсю то ли за блядство, то ли за бездетность — какая разница?

Коля Шудегов к тому времени окончил техникум и играл в рокера по гаражам. Ни одной записи, как утверждала его покойная мать, к счастью, не сохранилось. Недавно блогеры открыли олигофрена, в которого вселился дух Цоя и диктовал ему тексты вроде: «ломая лёд скора на ступит день и мы как суки и как пять рублей», — а Коля Шудегов и так не умел.

В восемьдесят каком-то году его группа выступила в областном рок-клубе; парторг прокомментировал концерт следующим образом:

— Вопиющая бездарность! Воинствующая бесталанность! Самогонное бренчание! Словом, зазнались петушки по самые яйца.

— Всё хорошо получается у ребят, — возразила его любовница, звукооператор, — и, взрослея, они покажут нам более взрослую и бьющую тематику.

— Нет уж, — отрезал парторг, — диссиденты выискались. Диссиденты все в Москве, вот туда пускай и катятся, никто их держать не будет. — Но Коля происходил из простой дворницкой семьи, и на Москву денег у него не было.

Вскоре умерла его тётка, и Коля переселился в её запущенную однушку. Утром к нему постучалась Люся Судакова и стала, сияя глазами, что-то трещать. Сейчас он не мог вспомнить, что именно. Её веселье в доме, где недавно умер человек, не показалось Шудегову глупым, неуместным или безнравственным. Густопровинциальным рокерам нравятся простые раскрашенные девки, не претендующие на звание рокерш или поэток, не всегда безопасные для кошелька, но почти всегда безопасные для самолюбия. (Больше им нравится только совать в тексты песен слова на иностранном языке, которым они владеют на уровне пятиклассника.) Но, главное, Коля ничем не раздражал эту славную моложавую овцу. Другим женщинам казалось, что он выё...ся, даже когда молчит, и они, не сговариваясь, твердили: «Будь проще», — а чтобы попасть туда, где об этом просить не будут, у Коли не было ни денег, ни должной подготовки.

Прошёл год. Ударника забрали в армию. Басист запил и женился. Сологитарист запил, ночью уснул в сугробе около церкви и замёрз. Люся сказала:

— Значит, так надо. Брось ты это.

— Много ты понимаешь, — возмутился Коля, разливая водку. Она была палёная — если разлить немного на столе и поджечь, не горела; вскоре Горбачёв запретил и такую.

— Я тоже в детстве стихи писала, — задумчиво сказала Люся. — «Вдоль деревни у дороги ивушка растёт. Знает об этом весь большой народ. И весной и летом, в полуденный зной она готова путника укрыть своей листвой».

— Считай слоги, дура, — ответил пьяный Коля. — Считай слоги.

— А ещё мне после автокатастрофы, когда мать разбилась, стало сниться, что я умею летать и на время полёта делаться невидимой, — продолжала Люся, как не слыша. — Мне шесть швов наложили, и когда их сняли, меня не стало. Всё вижу, всё чувствую, но меня нет. И кто это выдумал, что крылья нужны, чтобы летать, ты же просто плывёшь, только не в воде. А ещё можно в любой дом попасть, где тебя обидели, и натворить там всего, и никто тебя не заметит.

Коля отодвинул гранёный стакан, прислушался. Хотелось спать.

— Я так начальнику цеха сказала, только у себя в голове: «Я ещё всё твоё убью», — было за что. Наутро он умер, а всё потому, что балкон оставил открытым. А я у себя дома спала как ни в чём не бывало.

Коля, слегка протрезвев, осознал, что всё это время полоумная баба его обманывала, прикидываясь здоровой, что нет хороших и нормальных людей — все врут, и надо послать эту продавщицу ещё за водкой, а потом не открыть ей дверь. Тут Люся укоризненно посмотрела на него чистыми, ясными глазами, подведёнными синим, и сказала:

— Вы со своей группой больше портвейн по гаражам пили, чем дело делали.

— Уё…й, сука, — сказал Коля, — я себе девку молодую найду с квартирой, — и, разумеется, не нашёл. Пришлось жениться по залёту на пэтэушнице. Она забивала Колин катушечный магнитофон попсой, дома у неё были мать-истеричка, отец-алкоголик, брат-алкоголик и ещё один такой же брат.

Люся осатанела. Она регулярно спускалась на первый этаж — попросить соль, кастрюлю, сковородку. Однажды потребовала починить за бесплатно кран. Бойкая Колина супруга не понимала, почему чувствует себя серой мышью рядом с этой уже не очень молодой тёткой.

Всё закончилось скандалом. Вернувшись домой, Коля застал на кухне взлохмаченных соседку и жену. Жена закричала:

— На пять минут вышла, на площадку покурить, забыла дверь защёлкнуть. Прихожу — на кухне твоя скотина, и полсковородки картошки сожрано. А она улыбается: никакой картошки не ела! — Супруга запустила в Колю тяжеленной салатницей, он еле увернулся и понял, что лучше развестись. Без баб дома хорошо, светло, спокойно, только грязно.

Люся переехала жить к менту и стала гулять от него налево. А ещё мент увидел, как она по утрам накручивает ресницы на раскалённую вилку, и решил, что она спятила. О тебе тоже могут подумать, что ты спятил, дорогой читатель, если ты будешь совершать действия, вышедшие из моды, или носить немодную одежду.

Коля собрал новую группу. Никто из этих ребят не слышал о *Sonic Youth*, *Throbbing Gristle*, *Circle Jerks* или *Wire*. Вскоре ударник подсел на ханку и умер, бас-гитарист попал в тюрьму за кражу, соло-гитарист запил и устроился сторожить садоводческое хозяйство; на работе он спал, пока не умер во сне от инфаркта, спровоцированного дешёвой водкой и колёсами. Наступили последние времена.

Шудегов жил один всё в той же обшарпанной квартире, которую изредка ремонтировал, но она невыносимо быстро обрастала изнутри сальными пятнами, ржавчиной и пылью. Про него говорили — «дурак», так в райцентрах говорят о тех, кто в юности совершал что-то недозволенное, или о тех, кто активно пишет о справедливости в местную газету, или о тех, кто не пьёт. Коля пил много: после стопаря рожа в зеркале уже не казалась ему жуткой. После реформы ЖЭКа было решено отказаться от штатного сантехника, и Шудегову пришлось уволиться и зарабатывать шабашками. Откуда ни возьмись, выросли конкуренты — гладкие самоуверенные тридцатилетние парни. Они умели печатать объявления на компьютере, а у Коли на компьютер не было денег.

Как-то он поднялся на третий этаж, где приобрела квартиру молодая, с виду — жидовская, мразь. Думал, она поможет с объявлениями. Но та, увидев в глазок неопрятного, тощего, напоминающего наркомана дядьку в замызганной куртке и тренировочных штанах, не открыла.

На лестнице ему встретилась Люся и закричала:

— Что, собутыльников ищешь, мудила? Все пепельницы опрокинул, дерюгу себе вместо коврика приволок, вонь от неё на весь подъезд.

— Пошла на х…, — привычно ответил Коля и поплёлся вниз. Потом жидовская мразь говорила, что после его прикосновений перила хочется вымыть чистым спиртом. Зачем, возражал любовник мрази, дядя Коля сам есть чистый спирт.

Люся так и жила тут с тех пор, как лейтенант милиции вывез её из своей хаты. Ходили слухи, что её разбил эпилептический припадок в соседнем дворе. Падая, она прокусила язык и теперь заметно пришепётывала. Слух её ухудшился — она врубала зомбоящик на полную мощность, а разгневанным соседям не открывала. Зае…сь слушать диалоги сериальных героев, Шудегов доставал из ящика древние кассеты Цоя и Неумоева с зажёванной лентой, подклеенной кусочками прозрачной бумаги.

Иногда Коле казалось, что старуха — а женщины здесь быстро старели, и в шестьдесят пять лет Люся выглядела чуть ли не на восемьдесят, — не узнаёт его или с кем-то путает. Может, даже с тем, кто подстроил пресловутую автокатастрофу. Это событие смешалось в её башке с падением во дворе, работа в магазине — с работой её сестры в морге; впрочем, была ли эта сестра?

Вечером шестого ноября 2009 года Шудегов заглянул в подсобку своего сына-слесаря. Удивительно, что этот юноша, учившийся в обычной хабзайке, тоже не жаловал всякое там Русское Радио. Более того, однажды он зашёл к какому-то журналисту поменять трубу, услышал не известную русскому народу группу *Hypnos 69*, и ему это понравилось. Но сейчас он слушал Земфиру. Отец и сын распили бутылку водки, и молодой слесарь стал высказывать претензии:

— Ты, батя, одет, как бомж. Западло уже с тобой бухать.

— Иди на х…, — злобно ответил Шудегов. — Дрянь всякую педерастическую крутишь. — Он вытащил из магнитофона диск Земфиры и х…нул по нему топориком.

— П…й в свою халупу, старый пидор, — спокойно сказал сын, которого было трудно вывести из себя. И Коля, враз утихнув, поп…л, куда сказали.

В подъезде, в окружении шприцев и осколков, мяукала симпатичная серая кошечка. Шудегову стало грустно, и он унёс её к себе.

Вскоре кошка отъелась, шерсть её стала облачно-светлой и пушистой. Сантехнику было неохота придумывать для неё кличку, и он звал её просто кошкой.

— Сволочь, мне твоя бывшая говорила, что ты не крещёный, а только погружённый, — окликнула Шудегова Люся, когда он наблюдал за кошкой сквозь решётчатое окно первого этажа. Прутья решётки проржавели насквозь, их, наверное, было легко распилить, но Коле было плевать.

— Хочешь меня покрестить, что ли, дура? — усмехнулся он и захлопнул форточку.

— Снизойдёт тебе тишина в душу! — крикнула Люся. — Под ноги — твердь! В сердце — покой! — Шудегов испугался, что старуха вцепится в решётку и проорёт так до вечера, и налил себе водки, чтобы стало пох... Кошка юркнула в приоткрытую дверь подъезда и помчалась по лестнице. Люся прокралась за ней, наблюдая, куда животное направится дальше.

На следующий день Коля отпустил кошку погулять, и она не вернулась. Он побродил по окрестностям, купил в ларьке банку «Балтики» и сел во дворе на сломанные качели. Почти засыпая, он увидел, что из-за угла показалась Люся с лопатой. Старуха прихрамывала и то и дело хваталась за поясницу. Но случилось чудо — она заметила Шудегова, распрямилась, вскинула голову. Раньше никто не слышал, как Люся поёт, а теперь у неё прорезался голос:

— Широка страна моя родная! Старикам везде у нас почёт!

Коля с тоской понял, что случилось, и что он, как выражалась его бывшая жена, интеллигент: он зассыт врезать этой падали, он не хочет закончить на зоне свою и без того х...ую жизнь. Шудегов смял банку, запихнул её в урну.

Ничего, ничего, сказал он себе, ревматизм — значит, совсем плохая. А на хате у неё нет телефона, один допотопный сотовый, который она может забыть поставить на зарядку. И никто к ней не ходит, только раз в полгода сумасшедшая сектантка в розовых бусах поверх мятой ультрамариновой кофты. Жаль, что дверь антивзломная, — *можно было бы придумать что-нибудь ещё.*

Оставшиеся на книжке деньги он потратил на гидроаккумулятор и насос, чтобы откачивать у соседей воду. Труба, что называется, заросла, и ЖЭУ не собирался её ремонтировать, иначе номер бы не прошёл.

Двое суток вода у соседей на втором, третьем и четвёртом этажах текла тоненькой струйкой. На третьи перестала. Днём к Коле кто-то ломился — он не открыл. Он заранее запасся ижевской водкой, дрянными колёсами из аптеки и блоком сигарет. Заодно выкрутил все лампочки в подъезде, чтобы старухе было стрёмно спускаться.

Есть не хотелось, только валяться в полусне. Мимо Коли проплывал неуловимый светящийся бред, композиции из разноцветных геометрических фигур, странные расплывающиеся предметы. Иногда он заставлял себя сходить в ванную включить воду, через полчаса или час выключал. Пошли четвёртые сутки.

На всей западной половине, да, но мы же не можем взломать, донёсся снаружи хриплый голос, — теперь частное пространство у всех, это раньше ничего не было. Этот урод у вас внизу трубы пластиком заварил и уехал на х... — Далее — неразборчиво. Затем другой мужчина поинтересовался, что делать, если в течение недели ублюдок не впустит мастера. Да чё, мне-то есть куда

уехать за водой, ответило мягкое контральто, а вот подо мной бабушка живёт, ей никуда не уехать. — Так, может, достучаться до старухи, принести ей воды. — Да ну, так же мягко ответила жидовская мразь, старуха… неадекватная, всех достала, перебьётся. — Недаром Шудегов прозвал эту суку жидовской мразью. Люди ещё немного потоптались возле его облезлой деревянной двери и ушли.

Помучилась? Теперь умирай, я разрешаю, подумал Коля; это была последняя горсть таблеток, скоро станет совсем хорошо, так, что даже музыка не нужна. Из-за тяжёлых коричневых штор и ржавой решётки слышались юношеские голоса — это студенты под пиво прочитали на контркультурном литсайте абсурдный стишок и повторяли его хором во дворе, как речёвку:

бей кошку домиком — будет кошка сомиком
бей кошку ларьком — будет кошка хорьком

Шудегову представился ларёк, пожирающий кошек и выплёвывающий шаурму. Ничего, тихо и внятно сказал кто-то внутри, это сначала идут мрачные слова, а потом — совсем лёгкие.

бей кошку облаком — будет кошка облаком
бей кошку кошкой — будет кошка кошкой
бей кошку ничем — будет кошка всем*

* Из стихотворения Алексея Никодимова «Методы рифмоударного воспитания кошек».

Коричневая завеса исчезла, вокруг было прозрачно-синее небо, одно облако медленно, словно по невидимой лестнице, спустилось, и Коля увидел, что это его мёртвая, а теперь совсем живая, но облачно-невесомая кошка. Ты тоже подохнешь, но тебя здесь не будет, шепнул он той, что осталась наверху, и тут же с удивлением понял: насчёт главного она не врала — никаких крыльев не отрастает, ты становишься невидимым, но ты всё равно что живой, только по-другому живой, не так, как раньше.

Старуху, говорите, давно не видели? Вскрывать её квартиру рановато, запаха ещё нет, сказал работник МЧС. Жильцы сгрудились вокруг него на тесной площадке, никто из них не боялся трупов, а один подросток достал сотовый, чтобы заснять всю х…ню, но отец прикрикнул на него. Да, рановато идти наверх, добавил отец: первое время ты мёртвый никому не мешаешь, ну, почти никому.

Евгения Лаптева

Родилась в 1987 в г. Калининграде. Участник фестиваля медиапоэзии «Вентилятор» (Санкт-Петербург), Московского фестиваля университетской поэзии и проекта «Балтославия» (2007). Публикации: журналы «Зинзивер», «Параллели».

***

Спи
накрыв лицо
чтоб не ослепла я
и будь немного нем
иначе не уснуть мне.
Когда проснёмся
на ветрах слов несказанных
или сказанных на всех языках
но не услышанных
то простынь под собой не найдём
лишь оттиски
на наших телах
острых
и покорных трав.

***

ещё светлеет зима уже
чёрными стали руки на третьем снегу
чайки с плечами
такие девчата бывают
белые перья и красные лапы
чтоб море хватать на лету

и наглотаться бы соли
только не надо
лаять

они так мечтают о лете с прогретыми полотенцами
выцветшими блузками цветных принтах
и волосами светлее бровей
эти солёные женщины в чёрных пальто
хотят быть заметнее
на фоне зимы
на фоне белого (что ещё важнее)
в своём нежном драпе
в своих чёрных пальто
бледнеют к горизонту
облаянные

***

Обед молчания
это суп из крапивы
это бедность
моё голодное детство
витамины

это когда я пишу
пишу и скучаю
это странные письма
а ты —
не отвечаешь
тогда руки и ноги в ожогах
и больше ничего...

***

Я еду из автобуса в автобус
туда где щекочет ухо пойманная на крючок ракушка
щекочет шею серёжка
где море с пеной у рта доказывает что это вода
где почти что Джеки Чан и Такеши Китано
ныряет в океаны в тёмных очках
Играет джаз
мы так танцуем
что все остальные курят взатяг
а ночью как сухие цветы
сухой отель
старый и ломкий узор
пчелиные соты
спуск и подъём
против шерсти шезлонги
картофель фри
пляжные полотенца,
бутоны-зонты

ненадышанный воздух

надушенный ты

***

Чёрным по белому
У меня есть белое место
как сто лебедей вместе
как борьба на подушках
небесная —

снег
вместо сметаны в супе
доведённый до каления
кончик сигареты
белыми нитками зашитые
дыры на локтях
как сажа бела дела
и белена
пелена
на глазах
планы на весну и комиксы «Снуппи»
чистое пальто
табличка буфета
наша любофь
чужая собака
случайно пейзаж нарисованный чаем
пятно на новом платье от перекиси
твоя редкая седина
белая
спина от скамейки
пробелы в тексте
стихи на салфетках
и лебединая песня
есть у меня

***

Слеза
играет сладко-горький блюз
— Слезай, я тебя не знаю
Закурю по-цыгански душистый табак
слижу с шеи твой терпкий запах
скажи
лети птица
птица лети
прижмись ближе
дыши глубже
Шива поможет
слышишь?
Зимний пляж целует море
а ты рядом ляг
сдуй с волос серпантин
скажи
лети птица
молчи птица
я забываю твой голос
и звоню
На войне никто не прав

чтобы видеть тебя
мне надо смотреть вверх
мне надо идти дальше
в сторону ветра
у тебя голос спокойный
у меня усталый
Война затягивается
петлёй на шее шерстяной шарф
— Чёрный кот, слезай с дерева
скоро Новый год
майский жук не прилетит
он уснул или умер
я потеряла надежду
одежду
одну серёжку
и меня убил вчерашний вечер
Прости, что прошла мимо
звонила, звала, упала — разве этого мало?

***

Есть солнце —
надо закрыть глаза
нет солнца
надо открыть окно
и есть море.
Волны твоего тела ложатся на сушу нашего песочного покрывала.
Она ласкала воду руками, набрала её в рот и молчала,
он переводил время, все поезда запоздали, когда море шумело и не было солнца
Только его дыхание и её молчание
ночью, в чьей комнате нет моря и нет солнца.
Как шуршанье пакета шум моря
на прощание они сидели
оставляя открытые двери.

***

Голая вода в ванной хвастается
ты никогда не видел меня под свитером
там всё так трогательно
синяки на плечах и запястьях
тебе понравится
да, я падала и танцевала
«Эти муки пройдут» — мне сказали 143 мухи
маленькие муки
маленькие руки
без муки не испечь хлеба.

***

старость приходит в сентябре
по подоконнику
и целует
в шею
в губы цвета киноварь
большую красную женщину

осенние ранения
ранее не зафиксированные
цветы избитые дождём

опять мятая одежда на нём
тает
лимон и мята в стакане

вот придём домой
и первое что сделаем не включая свет

поменяем трещины на потолке на черничную ночь
цветы на дождь
и женщину на мужчину

первое что сделаем в черничную ночь…

Лада Викторова

Родилась в 1968 в г. Калининграде. Сборники стихов «Грустный рай» (1997), «Обретение формы» (2004), «Строгий собеседник» (2011). Публикации: сборник «Солнечное сплетение» (2005), альманах «Насекомое».

***

Мне снился сон. Мне снился океан
и остров, обведённый им по краю,
изысканно-гравюрных очертаний,
как на барочной карте дальних стран
с натёками свечей и белых пятен, —
но этот был объёмным и живым,
с вулканом, мерно дышащим под ним,
и солнечной дорожкой на закате.

Мне снилась тишина туземных лиц,
высокоскулых, с плоскими носами,
глубокий сумрак вдавленных глазниц,
сомкнувшийся когда-то над глазами,
гортанный звук слегка осипших флейт,
на сваях тростниковые настилы,
взбугрившиеся мускулы и жилы
гребцов, их украшенья в виде лент
из каури, нанизанных узорно,
раскраска двух цветов — кармин и чёрный —
и чёлки, покрывающие лоб,
и на песке следы упрямых стоп.

Мне снился рынок, гроздья чёрных кур
вниз головой, оранжевые юбки,
и вязаные шапочки, и трубки
старух, и их молчание вприщур;
по глине — прорастание фигур
невнятных европейцу геометрий,
протяжное, как пенье гончара
(так к нам из завтра тянется вчера,
то звеньями, то волнами, то петлей).
Порезы на сочащихся плодах
невероятной формы и расцветки,
похожие на сдавленное «ах»
любовников; банановые ветви,
так плавно отгоняющие мух,
что наблюдатель замирает в трансе...
купаясь в этом бархате и глянце,
изнемогли и глаз, и слух, и нюх.
.....

Как вдруг из-под воды раздался звон
колоколов, и все взглянули влево,
и кто-то прошептал «Святая Дева»
так внятно всем, как будто крикнул он;
и церковь показалась из глубин,
как кит хребтом, вздымаясь куполами,

и на мгновенье встала над волнами
смирёнными; мы видели амвон,
источенный морскими желудями,
и выцветшую фреску над вратами
со ждущим всех, кто трудится, Христом.
Все замерли; и каждый, как один,
ждал гибели, не в силах оторваться
от созерцанья храма. Долгий миг
закончился. И храм стал распадаться.
Кренились башни. Вздрогнул и поник,
как грудь в последнем вздохе, средний купол.
Распался крест трансепта. Свод предстал
изнанкой, точно взорванный, и рухнул
в безмолвии. Тут каждый закричал,
не узнавая собственного крика, —
и сразу, словно звук вернулся в мир,
раздался шум как бы от многих крил,
вершины пальм рванулись и поникли
до самых волн, и показался вал
от горизонта. Поначалу мал,
он набухал так быстро, зеленея,
и наливаясь светом, и круглясь
изломом...
Меж людей распалась связь,
и всякий ощутил под кожей зверя,
в тоске предсмертья ищущего щель,
когда стрела уже попала в цель.
Глаза зажмурив, затыкая уши,
метались, наступая на тела
ещё живых, а первая волна
обрушилась — и враз не стало суши.

Все умерли. Я тоже умерла —

...за окнами имбирные дома
присыпал снег, как сахарная пудра,
и в воздухе запахло Рождеством,
и мой надёжный крутобокий дом,
остойчивое маленькое судно,
шёл к гавани; всё было как всегда;
и, просыпаясь, я за это чудо
благо...

— и в окна хлынула вода.

***

В извилистых терниях рода
И в терминах точных наук
Блуждай, сколько хочешь, свобода —
Но выйди в свой подлинный круг,

Но выпади бусиной с чёток,
Костяшкой всемирных счетов,
Потерянной для звездочётов,
Для пастырей и для волхвов.

Судьба потому и вершится,
Что рвётся из книги судеб
Зачёркнутой накрест страницей
С помарками Бога внабег.

***

Не искушай молитвой небеса —
Подумай, сколь внезапны чудеса!
Крылатый вестник в дверь твою стучится,
И им всегда окажется не тот,
Кого ты ждёшь; желанное войдёт,
И ничего страшнее не случится.

Что ж ты застыл? Склонись, благодари,
Ведь это дар;
смотри не урони…
Хоть ярым оком пыжится светило,
От чуда зябко, душу проняло;
Теперь ответ ты держишь за него —
Не то возьмут, и станет всё, как было.

***

Это буйство цветочное прёт из земли,
И натужно гудят трудовые шмели.
Одинакая цель у шмеля и цветка.
Безразлична цветку человечья тоска.

Но поверь, что цветок сотворён и для нас,
Чтобы сердце тревожить и радовать глаз.
Он прекрасно бесцелен, он сам по себе.
Он случаен. Он стержень в судьбе.

***

Какая круглая луна —
Как будто циркулем природа
Её с нажимом провела,
Прорвав копирку небосвода,

Или нагретый пятачок
К окну морозному прижали,
А может, просто надышали —
С той стороны...

***

И равнодушная природа...

Пушкин

Не то, что мните вы, природа...

Тютчев

Она совсем не равнодушна,
Она пристрастна!
С давних пор
Она лелеет свой отбор
И точно знает, что ей нужно.

Её вершина — паразит,
Сосущий соки жертв своих.
В ней нет ни атома без цели.
Ей ненавистны я и ты
(Как, впрочем, звери и цветы)
Вне вида, взятые отдельно.

Когда она раззявит пасть,
Ей мало тех, кто может пасть,
И тех, кто устоит, ей мало.
На Божьих простирает власть,
И пестует слепую страсть,
И мстит разумному началу.

А мы в неё привносим грусть
И слышим лепет чьих-то уст
В пунктирном токе вод подземных,
И в вулканических толчках,
И в механических тычках,
И в остывающих созвездьях.

И тем она побеждена,
Что нами одушевлена…
Но как отринуть подозренье:
Не мы затмили древний лик,
И грех не только в нас проник,
Не нами будет искупленье?

***

Этот снег — успокойся, прости, отпусти, —
говорит, — посиди на щербатой скамейке,
подержи до ломоты в озябшей горсти
то, что выскользнет из самой мелкой ячейки…

…осязать невозможное, твёрдое пить,
зажимать в кулаке неделимого части,
не желать ни свободы, ни счастья, ни жить —
чтоб внезапно понять и свободу и счастье.

Сон

Тяжёлый брус примеривал палач.
Казнимый содрогался мелкой дрожью.
Извне необъяснимое сродство
в них проступало, но в казнимом —
больше:
убийца был последний человек,
который прикасался к этой плоти
почти что с нежностью,
совсем без зла
и без желанья мучить;
ведь палач
любил свой труд, как любит только плотник,
и каменщик, и всякий, к ремеслу
причастный и глазами и руками;
его кресты разнились от других
своею соразмерностью казнимым —
и человек, к которому сейчас
он подгонял свой брус, ему казался
и частью целого, и сотворцом,
невольным соработником. Нечасто
ему встречались те, кто принимал
с такой покорностью его заботу
о совершенстве.
Многих видел он —
роптавших, проклинавших, умолявших,
не отводивших взгляда от гонца

с помилованием
на горизонте
(то птицей он оказывался, то
помаркой на сетчатке от в зените
застывшего светила), — но всегда
они не верили, что умирают
с такой же неизбежностью, как тот,
кто дотлевает на одре болезни.
И даже обезумевши от мук,
треща, как саранча, немой гортанью,
захлёбываясь выпотом, уже
убившим их, о чём они не знали,
они приподнимались, чтоб ещё!
ещё! ещё! — вдохнуть, пока секач
не подрубал им голени.
Но этот
не думал, как бы избежать конца, —
он *понимал* и был готов исполнить
как можно лучше. Жаль, что инструмент
был так разлажен — содрогалось тело,
иззябшее от ссадин и рубцов,
спекались веки, жаждущие сна
и липкие от крови и от жара,
и весь он был подкошен, как атлет,
которому осталась четверть круга —
и отступить нельзя, и нету сил,
чтоб вновь желать постылую победу.
Он думал — только б выдержать (не жить,
не выбирать), и утешался тем,
что от него не многое зависит —
гораздо меньше, чем от палача;
что, к счастью, всё уже необратимо;
прислушивался к собственным кишкам,
костям и сухожилиям, ко всем
первостихиям, элементам тела —
металлам, жидкостям, известнякам,
земле, воде и воздуху;
лишь света
он не хотел сейчас — не свет умрёт,
не белый огнь, состриженный как во́лна
(«люблю» — ко всем, «любимый» — никому)...

Я слышу — стук, и стон, и стук, и стон,
и стук, и стон ещё раз — а потом
скрип вервия и скользкое от крови
братанье плоти с деревом. Смотреть
неможется, недужится. Трясёт
от сквозняка, который сообщает,
как проводник, два тока —
палача

и распинаемого. В этом сне
мне внятны все оттенки их работы
совместной, будто я — один из них
(вернее, каждый). Тошно: почему
они покорны страшному порядку?
Один — так деловито, а другой —
почти с заискиваньем совершают
противное душе и естеству...
И неужели — этот вот, согбенный
и жалкий, — коронуется венцом
терновым? Где — высокое страданье?
Где жертва? Где сиянье на челе
и тихий взгляд, пронзающий до сердца?
Где две горы — Голгофа и Фавор?
Я не могу смотреть, как убивают
(скорей бы уж — убили, унесли
и спрятали — как будто не бывало —
разбухший сгусток корч и нечистот!).
Палач, палач — а ты собой доволен
и не отводишь взгляда?
Боже мой!..

...и в этот миг — как отклик на моё
невольное
почти что междометье —
я чувствую Его, совсем таким,
каким предчувствовала:
настоящим;
не над собой, а где-то позади
(как взгляд в толпе, когда не повернуться,
но знаешь, что увидишь, если бы...) —
и слышу голос свой, себе в ответ
произносящий, словно под диктовку:
«Молись, чтоб тот палач тебя судил
в День Гнева: кротче он и милосердней», —
и просыпаюсь —
в страхе от себя.

***

Осенних садов металлический привкус,
Ноябрьских небес ненадёжная сень.
Сейчас мы проснёмся — и тут же проникнем
В какой-то совсем неустойчивый день.

Откуда боязнь не заметить, нарушить,
Ступая, услышать раздавленный хруст?
И этот сквозняк, проницающий душу,
Когда рукавом задеваешь о куст?

Куда ты выходишь, в какое пространство
Из комнаты тёплой, где выметен пол,
И хлеб, и вино, и почти постоянство
В порядке вещей, обступающих стол?

Я вижу, как светится гроздь винограда,
Как тёмная косточка в стенку стучит,
Я знаю, чего ей, проснувшейся, надо,
О чём она мыслит, покуда молчит.

Я вижу цветок, образующий почку,
И книгу, мигнувшую взмахом страниц,
И то, как меняют свою оболочку
Потёки свечи, набухающей вниз.

Но я не умею, глаза закрывая,
Всем телом вбирая оставленный вздох,
Увидеть твой путь — вдоль «четвёрки» трамвая,
До площади… Дальше…
Сквозь левый мой бок —

Куда повернёшь ты? Какими тенями
Тебя окружать, чтоб опять воплотить?
Как страшно, как трудно, из рук выпуская,
Тянуть без обрывов прозрачную нить!

И вот я бреду через сумрачный город,
Чуть-чуть обмирая на каждом шагу,
Вдоль огненных капсул загадочных комнат,
Где так же выскальзывают в темноту.

И столь же незримый, как те марсиане,
Которые спят на шестом этаже,
Светящейся точкой ты мчишься в тумане,
Меня под ладонью не слыша уже.

***

— Сердце сжалось от предчувствия беды,
Потому что есть теперь, кого терять.
Если счастье принесёт свои плоды,
То оно уже — испуг, не благодать.

— Спи, родная, — это только страшный сон.
Всё заплачено. Господь тебя простил.
Долгий путь тебе отсюда, долгий стон.
Помолись, чтоб на него хватило сил.

— Я молилась бы, да душеньке невмочь:
Жаль бессмертной всякой тленной красоты.
Голос дружеский услышу, или дочь
Детским словом мне укажет на цветы,

Или музыка польётся из окна
С тихим светом чьей-то лампы над столом,
Или в книге дорогие имена, —
Всё ей в трепет, нет покоя ей ни в чём.

— Кто сказал тебе, родная, что любовь
Легче пуха с голубиного крыла?
Это ангел пролетел, сжигая плоть,
И печать его очей в тебе видна.

Это — то, что после жизни и за ней,
Но оно стократ живее и больней.
Это — радость, ты когда-нибудь поймёшь,
Проницающая всю тебя, как нож.

***

Детский мир — это маленький рай,
Обретаемый снова и снова.
Перечти Моисеево слово
И в младенце Адама узнай.
Берег моря, волна и песок.
Без покрова на чреслах, без пола.
Каждый взрослый, как башня, высок —
Но зато до чего близок Бог
Всею мощью руки и глагола!

Возникает из праха Адам —
В прахе все элементы Вселенной:
Барий, литий, и кальций, и кремний,
Магний, цинк, молибден и вольфрам.
Смотрит мать, увлажняясь глазами,
Как мерцает на тёмном экране,
Как из праха творится Лицо.
И какой-то из тысячи предков
Очень скоро дождётся ответа,
Чтобы мог он предстать пред Отцом.

А ребёнок гуляет в саду,
Видит дерево, гладит траву,
Смотрит в книгу премудрый ребёнок:
Там волчонок, цыплёнок, ягнёнок,
Голубица, коала и тигр.
Между ними пока ещё мир.

В детстве имя — важнее всего.
Сам ты — имя, и кроме него
Именуешь живое и вещи.
Каждый названный — вечный и вещий:
Папа, мама, и баба, и дед,
И в окне очень старый сосед.
Он кивает тебе головой,
Он в тебе остаётся живой.

А потом появляется «я»,
И из рая попросят тебя.

Поскорее, дитя, вырастай!
Детский мир — это маленький рай,
Но Адам не восплачет о рае.
Хорошо, что бежит наша жизнь
Вкруговую;
в начало вернись
Вместе с внуками.
Вот на экране
Рвётся импульс — ты больше не с нами.
Вот теперь ты, наверное, рад,
Что, проснувшись, увидишь свой сад?

***

— Как ты живёшь?
— Живу ли я?
Сражаюсь.
Каждый миг мне труден.
Бросаюсь в зев разверстых буден,
Как в пламя тёмного огня.

Всё, что казалось обжитым,
Теперь по-новому пугает.
Уюта нет. И не бывает.
Где стол, там гроб. Где дом, там дым.

А эти звёзды в небесах,
Мерцанье несуществованья?
А бессловесные созданья —
Лицо коня и трепетанье
Стрекоз и птах?
Стихи случайные, как рок,
Их рифмы бедные, двойные,
Их предложенья назывные,
И вдруг — ожог?
А человечья красота?

Она сама себя не знает
И тем вернее настигает,
Что так проста.

А — Боже, как не задрожать,
Не потерять лицо от страсти —
Младенец!
Весь — во взрослой власти!
Кто я, чтоб в мир его рожать?

Мне крик о помощи и шёпот
По-разному терзают слух.
Блажен, кто слеп, блажен, кто глух,
Кто зачерствел, как сто старух-
Процентщиц…
О, прости мой ропот,
Не слушай!
Как, благодаря,
Упрёком меру не нарушить,
Когда весь день пронзают душу
Восторг и ужас бытия?

Борис Бартфельд

Родился в 1956 в п. Новостроево Калининградской области. Член Союза российских писателей, председатель Калининградской областной писательской организации СРП. Член правления Калининградского регионального отделения Российского фонда культуры. Автор проектов «Альбертина» (история Кёнигсбергского университета) и «Дом Сказочника» (жизнь и творчество Э. Т. А. Гофмана). 4 книги стихов. Стихи переведены на литовский и польский языки.

В августе 2010 года двое мужчин в камуфляжной форме принесли в светлогорский «Дом Сказочника» (Hoffmann Haus) рукопись на немецком языке, завёрнутую в плотную коричневую бумагу. Они сказали, что нашли её в посёлке Родники (Арнау), рядом с площадкой, где строится кардиологический центр. Там находилось имение Гиппелей, и Гофман очень любил бывать в этом месте. Скорей всего, рукопись была отправлена Гиппелю, а тот через много лет после смерти Гофмана спрятал рукопись в тайнике на месте, где вместе они были счастливы в юности. Гофман был удивительным мастером мистификации, но здесь речь идёт об исключительно правдивой истории, случившейся с ним в Бамберге, где он пребывал с 1808 по 1813 год.

Э. Т. А. Гофман Бамбергский безумно влюблённый

Дорогой друг[1]! Эти записки я пишу в надежде, что они когда-нибудь попадут в твои руки. Кое-что из произошедшего в Бамберге тебе известно из моих писем. Но многое ли можно написать в письме? Особенно о любви, поверь, о безумной любви. Ты сам испытал на себе, что пути Господни неисповедимы, и я хочу, чтобы ты знал, как провиденье подвинуло меня на путь писательства.

После тех печальных событий, которые начали происходить в Варшаве[2] с приходом туда французов в ноябре 1806 года, я, промучившись семь месяцев, решил уехать в Берлин. Хотел в Вену, и наш добрый Хитциг[3] даже подготовил рекомендательные письма, но то, о чём мечталось, как всегда, не случилось. В январе я отправил жену[4] с малышкой Цецилией к её родным в Познань. Мне удалось пристроить их во французский денежный обоз, который главный интендант Наполеона Дарю[5] отправлял из Варшавы в Познань. А сам, проведя в Варшаве ещё пару месяцев, всё-таки решился на отъезд. Сначала я заехал в Познань к жене, а уже оттуда направился в Берлин, куда и прибыл 18 июня 1807 года. Однако жизнь в Берлине оказалась ещё более невыносимой. Началось с того, что, едва я поселился в гостинице «Адлер» на Дёнхофплац, меня обокрали. Я лишился всех денег, которые мне удалось получить в долг для начала жизни в Берлине.

Я оказался нищим в городе, где цены на хлеб и молоко росли ежедневно, а тысячи бывших чиновников осаждали в поисках работы берлинские учреждения, надеясь получить хотя бы минимальное пособие. Я писал музыкальные пьесы, но их никто не издавал, рисунки и шаржи никто не покупал, и даже мой кёнигсбергский сосед Захариас Вернер[6], на которого я очень рассчитывал, отдал заказ на иллюстрации к своей драме «Атилла» другому художнику. А ведь я сделал уже половину иллюстраций к его пьесе. При этом положение Вернера было очень хорошим. Он был представлен королю Баварии, регулярно бывал в обществе герцога Готы, часто гостил у Гёте и имел достаточно много денег. На мою просьбу передать мне заказ, чтобы я мог заработать хоть какие-то деньги, Вернер сказал мне: «А о Боге ты иногда дума-

ешь, или только о деньгах?» Я пытался заработать музыкой. Написал за полгода три фортепьянные сонаты, песни и оперу «Напиток бессмертия». Всё это музыкальное богатство в мае 1808 года было опубликовано в Берлине издателем Вернмейстером. Но получил я только 20 фридрихсдоров аванса да 30 бесплатных экземпляров издания. Даже мои встречи с известными тебе блестящими писателями Шамиссо, Фихте, Цельтером, Бернгарди, Шлеймахером[7] не утешали меня, да и никто из них не мог мне помочь. В Берлине свирепствовал голод, усугублённый стужей. В пивных пиво разбавляли водой, вместо любимого мною кофе заваривали сушёную морковь, табак заменяли смесями трав, которые при курении давали невыносимую вонь. К счастью, мне на некоторое время удалось найти тихую, уютную гавань в доме одной достойной, ещё красивой и добропорядочной вдовы, имя которой я тебе не могу назвать. В конце концов, в середине апреля 1808 года я получил приглашение занять место капельмейстера в оперном театре г. Бамберга. Это был отклик на моё объявление о поиске работы, которое я дал ещё полгода назад во «Всеобщие имперские ведомости». Мне предлагалось в сентябре приступить к работе в театре капельмейстером с годовым окладом в 600 талеров. Моим единственным желанием было вырваться из Берлина и уехать в Бамберг. Однако на дорогу нужны были деньги, да и мой поистрепавшийся гардероб нужно было привести в порядок, что задержало мой отъезд.

Я так подробно пишу о событиях, предшествующих моему отъезду в Бамберг, чтобы ты смог понять, в каком состоянии разлада я прибыл в город и увидел этот волшебный, удивительный женский, скорее даже детский образ, о котором я тебе хочу рассказать.

1 сентября 1808 года мы вместе с женой и скромным домашним скарбом въехали в Бамберг. Этот старый епископский город, одно время бывший императорской резиденцией, лежит в долине реки Регниц. Позднее он был присоединён к Баварскому королевству и стал резиденцией герцога Баварского.

Мои планы работы в театре были сразу катастрофически нарушены. Граф фон Соден[8], который пригласил меня, передал и режиссуру, и весь театр некому Генриху Куно, а сам уехал в Вюрцбург. Куно оказался совсем не готовым к руководству театром, к тому же был высокомерен и легкомыслен. Театр стремительно шёл к развалу. По этой причине я не занимался капельмейстерскими обязанностями в театре, а зарабатывал, сочиняя случайные музыкальные вещицы. Кроме того, стал давать уроки музыки и пения сливкам бамбергского общества. Мне удалось заручиться рекомендациями дочери герцога Баварского принцессы Невштальской. Для её дня рождения я сочинил очень недурной музыкально-поэтический пролог, которым и продирижировал в театре.

Одним из семейств, в которые я стал вхож в качестве учителя музыки осенью 1808 года, было семейство консульши Марк. Мать семейства, вдова консула Марка, была постаревшей светской дамой, пытавшейся изо всех сил сохранить в доме вид некой респектабельности. Она приходилась свояченицей моему другу, знаменитому врачу Маркусу[9]. В семье росли две девочки. Старшей, Юлии, было 13 лет, младшей, Вильгельмине, — 11. Обе в меру талантливы и по-детски необыкновенно очаровательны. Я приходил к ним в дом дважды в неделю, занимался с ними пением и игрой на фортепьяно, затем частенько обедал с хозяйкой дома, которая иногда была не в меру кокетлива и оживлена. В общем, до поры до времени ничего необычного. Но

в один из дней середины мая 1809 года, когда я пришёл к ним в дом на занятия, младшая, Вильгельмина, была больна, и я репетировал с одной Юлией. Какое-то необыкновенное предчувствие сопровождало меня неотступно с самого утра, словно моя жизнь должна была решиться сегодня. Мы повторяли арию «Gran Dio» из итальянской оперы «Сарджино». Юлия пела, стоя у окна, из которого лился яркий свет. Я аккомпанировал на рояле и не отрываясь смотрел на неё. Мной овладело острое беспокойство, что я забуду ноты арии и должен буду смотреть на нотные листы и переворачивать их. Для этого мне придётся оторвать взгляд от моей ученицы. Невероятным усилием я сумел удержать в памяти текст арии и продолжал неотрывно смотреть на Юлию. Солнечные лучи просвечивали её платье из тонкой, полупрозрачной ткани, и я вдруг увидел её нежные плечи, напряжённую от пения грудь и тонкую вибрирующую шейку. Когда моя певица дошла до кульминации арии и вся подобралась, чтобы взять верхнюю ноту, я вдруг увидел как вокруг тела моей ученицы, которое было видно под лёгким платьем, появилось золотое свечение, которое длилось, пока звучал её голос. «Вот она — истинная дева солнца», — пронеслось у меня в голове. Это счастливое возвращение моей юности, так я пятнадцать лет назад в Кёнигсберге называл свою возлюбленную Дору Хатт[10]. Я что-то продолжал играть, мои руки сами по себе брали какие-то пассажи, но я не отдавал себе в этом отчёта. Я видел только мою девочку и свечение, исходившее от неё. Юлия допела до конца и с удивлением смотрела на меня. Я задыхался, ничего не мог сказать, прервал урок, схватил свой цилиндр и бросился прочь из дома.

Пришёл в себя я, только оказавшись в своей квартире. Что это было? Настоящее чудо или моё воображение? Я не мог понять. В этом, несомненно, была какая-то тайна. С этого момента образ моей юной ученицы не выходил у меня из головы. К 1 мая мы с женой уже переехали на новую квартиру, к трубачу оркестра Каспару Вармуту. Над квартирой, которая находилась на третьем этаже, был чердак, куда можно было попасть через маленький проём в потолке, скорее похожий на потайной лаз. Там у меня была оборудована поэтическая каморка, где всегда наготове были листы бумаги, перья и нотные листы. Находясь в странном, одновременно и возбуждённом и просветлённом состоянии, чего ранее мне никогда не удавалось достигнуть, я сходу набросал план новеллы, посвящённой моему alter ego, капельмейстеру Крайслеру. Писалось мне необыкновенно легко, вдохновенно, с каким-то стремительным напором. И это замечательное состояние волей-неволей связывалось с чудесным утренним преображением Юлии. Ведь и первый свой опубликованный рассказ «Кавалер Глюк», как ты помнишь, я написал через три месяца после знакомства с Юлией. Если бы ты только знал, с какой неудержимой фантазией мне работалось! Так продолжалось почти каждый день. С утра я давал уроки музыки в какой-нибудь семье и обязательно у Марк, потом яростно писал, затем обедал вместе с Гольбейном[11], который, к счастью, пришёл в театр на смену Куно, потом снова занимался с Юлией, вдохновлённый, сочинял или работал в театре, импровизировал на рояле, ужинал, пил в ресторане гостиницы «Розы» и писал, писал, мучаясь жестоким похмельем.

В это время мы с Гольбейном ставили в театре пьесу Клейста «Кетхен из Гейльбронна». Персонаж юной Кетхен необычным образом совместился у меня с моей маленькой Юлией. Юлия постепенно становилась воплощени-

ем магической силы любви, которая противостоит враждебному филистерскому миру. Любви скорей всего невозможной, недостигаемой любви. Но приблизиться к этой любовной вершине я мог, только идя дорогой искусства.

Это состояние возбуждения и просветлённости, так сильно способствовавшее моей работе, продолжалось до ноября 1810 года. Когда я понял, что люблю Юлию не только духовно, платонически, а со всей силой страсти, даже отчётливо понимая всю невозможность, всю нереальность взаимного чувства. Я продолжал давать уроки в доме у Юлии, иногда специально приходил пораньше, когда моя малышка ещё не могла быть готова к занятиям. Мне хотелось увидеть её несобранную, заспанную. Всё это доставляло мне восхитительное наслаждение. Сидя за роялем, я как бы случайно касался её руки, наклонялся к ней и вдыхал запах её волос. Всё внутри меня ликовало, близость объекта вожделения и невозможность обнять девушку, восторг и отчаяние одновременно. Это наполняло меня вдохновением, и я работал как никогда. Идеи, одна фантастичней другой, непрерывно рождались у меня в голове, и всё это расцвечивало мои прозаические опыты и музыку необыкновенно яркими образами.

А какое наслаждение бывать с Юлией в обществе, наблюдать за ней, аккомпанировать её пению! Иногда мне доводилось танцевать с моей малышкой, после чего я не мог уснуть до утра, всё это время и страсть отдавая музыке и моим литературным опытам. Однако постепенно жажда обладать моей Кетхен нарастала, пока не овладела полностью моим сознанием. Теперь я не мог ни писать, ни работать. Я не уловил момента, когда перешёл невидимую грань, за которой терялась моя способность творить. Я был в отчаянии не только от того, что не мог обладать своей возлюбленной, но и от ощущения своей творческой беспомощности. Вся моя натура была поглощена единственным желанием — овладеть не только душой, но и телом моей ученицы. Дело дошло до того, что я в воображении овладевал Кетхен, и это превращалось в мой, хотя и тайный ото всех, но почти реальный акт, завершавшийся полным душевным катарсисом. Я серьёзно рассматривал вариант моего бегства в Италию, бегства от любви, от бамбергского общества, от жены. В театр Бамберга приехала молодая актриса мадемуазель Нойгер, которая ранее в Берлине играла в амплуа травести. Здесь она была на ролях вторых любовных героинь, но сохранила не только подростковое очарование, но и девичью фигуру. Я, как морской вихрь, мгновенно вскружил ей голову и со всей страстью овладевал ею, воображая, что держу в своих объятиях мою Юлию. Эта связь длилась более двух месяцев и позволила мне не сойти с ума. Но и это противоядие утратило своё действие. Я почти ежедневно доходил до бешенства. Кончилось тем, что Юлия догадалась о моих чувствах. Догадалась и сразу отстранилась от меня. Я имел крайне неприятный разговор с консульшей Марк и был почти что отлучён от их дома.

В начале февраля до Бамберга дошло известие о двойном самоубийстве Клейста[12] и его подруги Генриетты Фогель. Я возжелал подобной судьбы! Мне представлялась картина этой общей для нас благословенной смерти. Ещё теплое тело моей возлюбленной лежит на софе в бальном платье. Моя простреленная голова возлежит на её бедре, хладеющие руки сжимают ладони моей подруги. Ужасная, шокирующая картина, но для меня она была сладостной. Это было безумие. Мои дневники были испещрены изображениями стреляющих пистолетов.

Через месяц ситуация ухудшилась. Консульша Марк начала разговоры о замужестве Юлии. В Бамберг приехал некто Грепель[13], который последние годы вёл свои купеческие дела в Гамбурге. Перспектива выгодного брака, который мог существенно поправить финансовые дела семейства Марк, заставила действовать консульшу очень быстро. Она устраивала встречи дочери с Грепелем и всячески способствовала их сближению. И, к моему удивлению, Юлия благосклонно относилась к кандидатуре этого жениха, представлявшегося мне полным болваном. Всё это доставляло мне крайние страдания, казалось, что ужасный сфинкс схватил меня за волосы и бросил в трясину.

Как моя утончённая Юлия, которую я четыре года за руку вводил в храм музыки, как она может отдать себя человеку, который так далёк от искусства? Огромными усилиями мне удалось заставить себя приступить к сочинению «Ундины»[14]. Музыка на время спасла меня. Окончательная развязка наступила в начале сентября. На шестое число было назначено обручение Юлии и этого презренного типа. Я не мог спать, меня мучали кошмары. Накануне обручения я только под утро забылся тревожным сном. Мне приснился большой полосатый кот, который сидел на стволе старого дуба, хитро смотрел на меня сверху вниз и, примяукивая, говорил человеческим голосом: «Тебе надо освободиться, тебе надо освободиться из любовного плена. Твоя болезнь истечёт из головы истукана». Я проснулся в холодном поту, но всё-таки, собрав последние силы, отправился на церемонию.

После обручения гости и мы с Кунцем поехали в пригородное имение Поммерсфельден, где был устроен пикник. Купец, чувствующий себя в центре внимания, решил под вечер прогуляться, будучи уже в солидном подпитии. Компания нехотя поплелась за ним. Он остановился под раскидистым дубом и стал выкрикивать всякие непристойности. Все сгрудились вокруг пьяного жениха. Вдруг мне показалась, что его непрерывно раскачивающаяся голова стала непомерно расти, огромные глаза вылезли из орбит, губы не могли скрыть лошадиных зубов, нос стал похож на баклажан, а уши превратились в капустные листья. Голова купца стала больше его туловища и продолжала опасно раскачиваться на длинной шее. Невеста пыталась поддерживать жениха, но в один момент она не сумела удержать его, и он рухнул в грязь, едва не опрокинув Юлию, с трудом удержавшуюся на ногах. Вернее, это я успел удержать её. Жених лежал, раскинув ноги и нелепо пыхтя. Голова его сдулась и почти приняла обычные размеры. Юлия побледнела, в отчаянии заломив руки. Я не удержался и крикнул: «Вот, взгляните, лежит дрянь. Такое может случиться только с пошлыми, прозаическими типами!» Страшная боль пронзила меня, но это была не ревность, нет, безусловно, не ревность. Это было ощущение предательства, предательства мира искусства, творчества, моего мира в угоду миру пошлости и стяжательства. Меня как будто окатило потоком ледяной воды. Вместе с великой болью пришло очищение. Я почувствовал какое-то внутренне опустошение, и вместе с тем появилось ощущение свободы, странное напряжение последних месяцев свалилось с меня. Не видя ничего вокруг, я кинулся к экипажам и не помнил, как оказался дома. Очнулся я у себя в постели только к обеду следующего дня. «Всё кончено, всё кончено», — бесконечно повторял я себе. Два года безумной любви и счастья, два года любовного мученичества закончились гибелью моей возлюбленной. Да, именно, гибелью, та молодая женщина, которая уезжала в Гамбург, уже не имела никакого отношения к моей восхитительной Юлии. Всё слу-

чившееся усугублялось моим паническим беспокойством, не потерял ли я навсегда в этой трагической развязке дар писательства. Но, к счастью, нет, лопнувшая голова купца и вытекшая из неё жидкость означали для меня возвращение способности творить.

Через две недели я закончил новеллу «Дон Жуан»[15], в которой убил таинственную певицу, приходившую ко мне в ложу, как бы выплеснув в этом всю свою боль и отчаяние. Этим я убил свою Юлию, убил её в своей душе, убил в угоду своему таланту.

Через полгода я покинул Бамберг. Все оставшиеся месяцы я посвятил литературе и опере «Ундина». Покинул уже с контрактом на издание всех своих написанных рассказов и даже тех, которые ещё только предстояло написать. Последний год моих любовных переживаний сделал меня писателем. Всё имеет свою цену, мой друг, всё имеет свою цену, даже то, что бесценно.

Примечания автора:

1. Теодор фон Гиппель родился в 1775 году в г. Гердауэн (ныне п. Железнодорожный). Окончил, как и Гофман, юридический факультет Кёнигсбергского университета, быстро продвинулся по службе. Прославился тем, что в январе 1813 года написал для прусского короля Фридриха Вильгельма III воззвание «К прусскому народу», призывающее подняться совместно с Россией на борьбу против наполеоновских оккупантов. Возглавлял правительственную администрацию в г. Мариенвердере (г. Квидзин, Польша). Умер в 1843 году, похоронен в г. Бромберге (г. Быдгощ, Польша).

2. Гофман был переведён в Варшаву в марте 1804 года. Его первая квартира находилась на улице Фрета в старой части города, неподалёку от кабачка «Под Самсоном». Летом 1806 года Гофман переехал в большую квартиру на ул. Сенаторской. На этой же улице находился дворец князей Мнишек, где с участием Гофмана было организовано Варшавское музыкальное общество. Здесь Гофман не только выступал в качестве исполнителя, композитора и дирижёра, но и как художник расписывал концертный зал. После прихода в Варшаву французов прусские чиновники был изгнаны с работы и из служебных квартир. Гофман несколько месяцев прожил в чердачной комнате дворца Мнишек, где расположился штаб интенданта Дарю. В настоящее время во дворце на ул. Сенаторской расположено посольство Королевства Бельгия.

3. Юлиус Хитциг (1780–1849) — прусский чиновник, с которым Гофман познакомился в 1804 году в Варшаве и поддерживал тесные отношения всю жизнь. Благодаря Хитцигу Гофман вошёл в культурные круги Варшавы, а затем Берлина. Знаменитую сказку «Щелкунчик и мышиный король» Гофман посвятил маленькому сыну Хитцига. Хитциг был первым биографом Гофмана.

4. Гофман женился 26 июля 1802 года в Познани на польке Михаэлине Рорер-Тжчиньской, дочери польского чиновника младшего ранга. В 1805 году у них родилась дочь Цецилия. Когда Гофман лишился работы, он отправил жену с дочерью в Познань, где в августе 1807 года двухлетняя дочь умерла.

5. Пьер-Антуан-Ноёль-Матье Брюно Дарю (1767–1829) — главный интендант великой армии Наполеона, гениальный организатор снабжения в походах. В Варшаве его штаб расположился во дворце Мнишек, где было музыкальное общество. Видимо, Гофман играл для Дарю и его офицеров на фортепьяно и скрипке и снискал его расположение. Благодарю этому он получил возможность временно жить во дворце и отправить жену в Познань с французским обозом.

6. Захариас Вернер родился в Кёнигсберге в 1769 году. Жил в одном доме с юным Гофманом на улице Постштрассе. Известный драматург и писатель, основатель жанра «трагедия рока». Гофман написал музыку к его нескольким эпическим драмам. В конце жизни был католическим священником в Вене, где умер в 1823 году.

7. В будущем — великие писатели, оказавшие на Гофмана большое влияние.

8. Граф Юлиус Соден (1754–1831) — драматург и дипломат, владелец и руководитель театра в Бамберге, который, несмотря на популярность, был убыточным. В конце концов, из-за угрозы разорения граф отказался от театра в пользу Генриха Куно (1772–1829), артиста и книготорговца.

[9] Адальберт Фридрих Маркус (1753–1816) — модный врач, одним из первых начал использовать электрические явления в физиотерапии. Знатные больные съезжались к нему в Бамберг со всей Европы. Одно время владел Бамбергским театром, однако понёс большие убытки и отдал театр. Дружил с Гофманом.

[10] Дора Хатт (1767–1803) была замужем за кёнигсбергским виноторговцем. Юный Гофман давал ей уроки музыки и пения и влюбился в свою взрослую ученицу. Любовная связь длилась с 1793 по 1796 год, оказав значительное влияние на формирование личности Гофмана. Когда вокруг этой связи разразился скандал, Гофман в июне 1796 года был вынужден срочно покинуть Кёнигсберг.

[11] Франц фон Гольбейн (1779–1855) — певец, актёр и театральный деятель. Познакомился с Гофманом в 1798 году в Берлине.

[12] Генрих фон Клейст (1777–1811) — крупный немецкий писатель и драматург. С 1807 по 1810 годы жил и работал в Кёнигсберге. Покончил с жизнью вместе с возлюбленной на берегу озера Ванзее вблизи Берлина, что получило европейский резонанс.

[13] Иоганн Грепель (1780–1821) — гамбургский купец, происходивший из Бамберга, владелец торгового дома «Грепель и сын». Муж Юлии Марк. Его богатый отец пользовался большим влиянием.

[14] Опера «Ундина» («Русалка») — первая романтическая немецкая опера, изучается во всех консерваториях мира. Либретто специально для Гофмана написал знаменитый писатель барон де Лямот Фуке (1767–1834). В Берлине первые двадцать спектаклей прошли с огромным успехом, после чего оперный театр на Жандармском рынке сгорел вместе с декорациями. Главную партию пела прима Берлинской оперы Иоганна Эвнике, в которую Гофман был влюблён.

[15] В основе сюжета новеллы «Дон Жуан» лежат события, связанные с постановкой оперы Моцарта «Дон Жуан» в провинциальном театре рядом с гостиницей.

Ирина Максимова

Родилась в 1980 в г. Риге. Участник фестиваля «СЛОWWWO», IV Московского международного поэтического фестиваля, «Södermalms Poesifestival» (Стокгольм, 2006), «М-8» (Вологда, 2008) и др. Книги «Баблгамы обратно» (2005), «Рцы: внутри» (совм. с П. Настиным, Е. Паламарчуком, Ю. Тишковской, 2007). Публикации: сборники «Солнечное сплетение» (2005), «Дети бездомных ночей» (2006), «Молодые голоса: Выигрыши» (2007), журналы «Воздух», «TextOnly», «Арс» (Латвия), «Reflect» (США), интернет-журнал «Рец» и др.

[...]

Вот, говорит Пётр, *вы говорили об этих вратах.*
Дай я тебе покажу.

И ведёт меня, и идёт впереди.
У него жёлтая голова без волос и лица, на нём балдахин,
который мог бы скрыть тело, но не движение.
Он похож на кеглю, но в этом нет ничего смешного.

Это могла бы быть тишина,
но звук неба не позволяет это назвать тишиной.

Впереди постепенно
проявляются золотые светом врата.

Вот, говорит Пётр, *смотри.*

И я смотрю на них —
узкие и бесконечно высокие,
кажется, будто они сходятся
в этом небесном пространстве,
удивительно голубом.

Здесь никакого солнца,
но здесь бесконечно светло.

В эти врата, добавляет Пётр,
пройдёшь только ты сам,
ты не можешь взять с собой ни того,
кто тебе советует,
ни того, кто взывает к твоей жалости.

Всё, говорит Пётр.
Теперь иди.

И я возвращаюсь.

[...]

А когда глаза мои умрут
и станут у куклы фарфором
прозвенит колокольчик там
и будет мне светофором
ты будешь слепой котёнок
я буду чужой ребёнок

и если тебе расти
и если мне не расти
то мне никогда не расти

А когда умрут мои уши
и птицы взлетать перестанут
я от тебя до суши
рукою смогу достать
ты будешь приятный ветер
я буду зелёной хвоей
и если тебе расти
и если мне не расти
то мне никогда не расти

А когда умрут мои пальцы
и я ничего не буду
я сама полечу по небу
над нашим простым законом
ты будешь речной кораблик
я буду совсем спокойной
и если тебе расти
и если мне не расти
то мне никогда не расти

[...]

когда ты уехал
я
каждый вечер
слушала бетховена
и
танцевала
я
каждый
вечер
танцевала
чудно!

дома
одна
для тебя
я

маленькое такое я
спичечное такое я
славные такие ботиночки

[...]

и пока никто не спросит меня:
— зачем ты предаёшь,
зачем отдаёшь —
...и пока никто не спросит меня
изнутри,
...то есть — если снаружи,
то я скажу: нет,
да что вы!
— *да что вы!..*

(и эхо внутри меня
отбивается от суставов
множеством маленьких
каучуковых мячиков.)

и только
подушечки пальцев стучат по столу.

[...]

И даже если мы с тобой люди,
для которых дорого стоит время,
даже если мы с тобой — люди,
для которых время само по себе ничтожно,
и ты предлагаешь почту, простую почту
перевести из формата времени в деньги,
чтоб не стоять в дорогостоящей очереди,

то как мы сможем жить стариками,
как мы сможем ждать друг друга из армии
или — не дай бог — из тюрьмы?

И всё время хочется, так нестерпимо хочется
исправить что-то неважное.

Есть люди, которые в крайности,
живут на самом краю,
на самом краешке неба.

Разве не ради них —
наше с тобою время.

...То есть — моё.

[...]

...и нет ничего слаще его живота,
и нет ничего.

[...]

и первый стыд какой-то божьей твари
остался в памяти на сладкое — иначе никак.
так появляется сквозняк, как настоящий.
закрыли окна, душно не заметив, а был ли мячик,
волчий твой билетик счастливый твой.

и музыка какая-то пора, и неизбежное её очарованье.
горит москва — слова на красный камень. в разговорах
нормаль касается виска и мозжечка, доколе боле:
боли, страха и любви уже видали, теперь другое
петька вовке говорит, а сам не пьёт ни грамма.

эти встали.

те — ушли от разговора.

[...]

Внезапно
Пришла зима — опять без никого;
И имя возвращается обратно,
И кроме остаётся ничего.

Опять птенец ютится под окном,
Не вовремя зачатый под венец;
Родится сын неправдой, как закон.
Я назову его Мертвец.

А после — остаётся ни о ком;
Стекляшки, ветви истязают луг,
И яблоня склонилась на излом,
И колокольчик ночью берегут.

И не затем зачатый под венок
Сквозь снег излом летит нагой птенец —
Когда б я смог, как мальчик, наконец,
Сквозь снег к тебе юрок.

[...]

Чувство пустоты приходит внезапно.
Хотя сама пустота
внимательно, шаг за шагом
идёт к тебе постепенно.
Ты по-прежнему жив
и даже способен на многое,
на большее, чем когда-то.
Но чёткое осознание
и точное чувство
того, что что-то потеряно,
хоть и не самое важное, как оказывается,
пронзает. И иногда — саднит.

[...]

Весь день мужчины в зелёном
поют молчаливую тополиную песнь —
вот и птица не прилетит.

А в ночь, в тишине, на кухне
пьёшь, чередуя чай и воду,
чай и воду.

Читаешь простой детектив.

Не думаешь, кто кому родственник
и к кому у кого есть дело, —
тихо листаешь страницы.

А завтра помнишь —
стояла смерть за спиной
в обнажённом виде.

Послезавтра память слабела
подробностью:

Вот и птица не прилетит.

[...]

С каждым годом становишься старше,
теряешься в датах.
Собственный возраст
становится не так уж важен.

Всё чаще кто-то от рака или инфаркта —
какой молодой/молодая.

Иногда, посылая деньги
на лечение тяжелобольного,
получаешь слова благодарности.

Думаешь о словах ответа.

— Том? Нет его. Говорят же вам — нету.

[...]

Марта и Мартин
были знакомы с детства.
Отец Марты был эмигрантом, его звали Мишей,
но это уже не имеет значения.
Марта и Мартин не писали на стенах
свои имена:
они были знакомы с детства,
но жили в другой стране.

У родителей Мартина
была квартира с балконом;
герань, красная, менструальная,
росла, отражаясь в стекле,
он её и выхаживал.
Знал про её семена.

Мартин работал кладовщиком.
Марта продавала цветы.
Кое-как сводили концы с концами.
Южная Германия, точнее, Бавария.

Мартин упрекал Марту в недостатке образования
и говорил про её родителей,
точнее — «ты —
полукровка, не —
понимаешь».

Так они завели кота.
Вернее, кошку.

Мартин нашёл её на дороге,
у автобусной остановки:
она дрожала от холода
в телефонной будке.

Редкий для тех времён,
падал снег,
медленный, бестолковый,
назавтра таял.

Марта болела, укрывалась тремя одеялами:
— Это твоё, оно — живое, —
шептала Марта:
Мартин ей был не первым.

Во сне она видела кошку,
умирающую на руках
у Мартина, у неё
умирающую на руках.

«Кто ты вообще такая?» —
спрашивал Мартин,
выгоняя Марту из рая.

«Никто», — соглашалась Марта.
Мартин ей был не первым.

Раннее утро
в Южной Баварии.

Марта одета в шубку,
искусственный мех.
Автобус не ходит в Мюнхен.
Кошку звали Аглая.

[...]

Мартин Марте:
— Отчего ты всегда улыбаешься, когда я серьёзен?
Марта Мартину:
— Отчего ты всегда серьёзен, когда я улыбаюсь?

Марта плачет, Мартин смеётся,
а скульптор Андреас делает своё дело
в маленькой студии, верхний этаж.

Его фигуры, похожие на треугольники и браслеты,
облокачиваются друг на друга:
серые булыжники в жёлтом свете.
Свет, даже сумрачный,
просачиваясь сквозь ветви,
приобретает оттенки,
да и движения становятся медленны.

...Жёлтый — гораздо теплее, —
считает его жена Луиза.

Она готовит нехитрый обед:
скоро Андреас спустится с лестницы.

Луиза слышит его неуверенный шаг.

Значит, не в этот раз.

Когда Мартин и Марта умрут,
что будет с вашими
незаконченными цитатами,
будут ли они длиться, как обертона
сыгранной пьесы,
или застынут в камне?

[...]

А даль всё ниже, на горизонте
стоит водой.
В ней отражаясь, стоит журавль,
совсем нагой.

Вот самолёт бумажный и шестикрылый,
как серафим.
Такая осень, о божья маша,
такая синь.

Такое время, когда бы он ей,
когда бы ты.

Ползёт улитка из Лиссабона,
везёт цветы.

[...]

Директор говорил по телефону,
зачем-то нервничал, спешил.
А я смотрела за окно —
там белый снег летит,
большими хлопьями,
настолько мокрый,
что летит он очень быстро —
так быстро, что не верится —
снег хлопьями — и быстро,

так быстро, что вдруг кажется:
не снег летит так быстро,
а время,
а снег, как и положено, летит медленно,
снег — пушистый.

[...]

Это время ветров,
не несущих с собой перемен.
Я такой же, как ты,
ничего не желаю взамен.

Ночью станет тепло,
я открою окно и уйду.
И беду от тебя отведу,
и беду от тебя отведу.

[...]

Осыпается берег моря,
отвесный склон.
Синеголовник — сухой,
песок — жёлтый.
Громко нельзя кричать
только в горах,
снег ещё тоньше, намного тоньше песка.
Кто же, кроме тебя, виноват?

Вот дрожит в воздухе паутинка
и пахнет хвоей.
Солнечный отблеск
в каплях росы, а ты
как себе представляешь лето?
Солёные воды моря
не избавляют от жажды,
и лица́ не отмыть от слёз.

[...]

О светлая, светлая нимфа,
постой, личинка.
Если ты меня вопрошаешь, кто я,
то могу ли тебе ответить.

На другом берегу песка,
на той стороне ответа
нет никого, кто дрожал бы,
нет никого, кто хотел бы
его услышать.

О светлая, светлая нимфа,
остановись, личинка.
Кому ты и что должна,
оставь —
это всё, что тебе осталось.

[...]

Холод пронизывает не душу,
намного ближе.
Откуда подует ветер,
скажут деревья —
ветви склоняются перед ним.

Если ветер нельзя узнать,
то часть становится ветром,
и ты существуешь. И потом:
чтобы отсюда уехать,
спроси, что начинать сначала.

Склонись перед ним.
Не молчи.

Вячеслав Карпенко

Родился в 1938 в г. Харькове. Окончил Высшие литературные курсы в Москве. Работал в газете «Калининградский комсомолец». В 1967 после неудавшейся попытки воспрепятствовать сносу руин Королевского замка был вынужден уехать в Алма-Ату. Вернулся в Калининград в 1997. Член Союза журналистов и Союза российских писателей, Русского ПЕН-клуба и Международной Федерации русскоязычных писателей. В 2000–2004 — председатель Региональной организации писателей Калининградской области, редактор журнала «Запад России». С 2002 — председатель Калининградского отделения Русского ПЕН-центра. Награждён медалью им. М. А. Шолохова (2005), лауреат премий им. К. Донелайтиса (Вильнюс, 2005) и «Вдохновение» (Калининград, 2010), «Человек года» (в номинации «Связь времён», Калининград, 2006). 11 книг.

Когда взойдёт луна…

Всё тихо и молчит;
и вот луна взошла…

Фёдор Тютчев

Поздним вечером ко мне постучалась женщина.

Переехал я в эту квартиру совсем недавно и ещё никого не знал. Впрочем, лицо женщины было мне знакомо: запомнилось в несколько случайных встреч на лестничной площадке. Совсем короткие волосы придавали её лицу мальчишечье выражение, если видеть мимоходом, выглядела она совсем молоденькой. Да и фигура у неё была подростковой, чуточку даже угловатой. Ей не шла помада, делавшая рот меньше и жёстче. Потому что губы тоже были подростково припухлые, и непонятно, зачем их нужно скрывать этим жёстким помадным рисунком.

И только глаза возвращали ей возраст, быть может, увеличивали. В них стоял некий грустный вопрос, ни к кому не обращаемый, плыли отрешённость и холод, от которых становилось неловко. Хотелось скорее пройти мимо: видимо, сказывался простой инстинкт самосохранения или обыкновенный бытовой эгоизм, называй, как хочешь, — человеку, который сталкивается с подобным взглядом, является чувство неосознанной вины, взваливать же эту вину за здорово живёшь на себя вовсе не хочется.

Но я быстро забывал этот взгляд чужого человека, помочь которому ты не способен. Да и не знаешь — как, не знаешь даже, нужно ли — помогать. Иногда ведь и грусть и боль — достояние столь же сладкое, что и радость. Страдание очищает и приподнимает человека над обыденностью, и это более интимное, более хранимое достояние: радостью человек охотно поделится, боль и грусть сильный человек не понесёт на люди, это своё… А незнакомая женщина производила именно такое впечатление — человека, который привык самостоятельно распоряжаться своей судьбой.

Она попросила о помощи.

Ей необходимо позвонить. Прежде всего, узнать время прилёта самолёта. Я не расслышал, из какого города он летел, понял только — самолёт пролётный и сядет на полчаса.

За окном шумели проходящие машины, потрескивала неоновая реклама. Её свет окрашивал падающий снег в розовое. С непривычки снег мог показаться искрами, несущимися с большого пожара. Эти неправдашние искры-снежинки, на которые я так любил смотреть и которые примиряли меня с этим приоконным неоном, почему-то не показались женщине, которая вошла в комнату, закончив телефонные хлопоты. В руках у неё была телеграмма.

— Какой… безобразный снег, — она передёрнула плечами и прислонилась к дверному косяку так резко, словно желала нарочно ощутить реальную жёсткость дерева. — А снег этот нельзя… потушить?..

Наверное, ей было необходимо выговориться, а может, даже выплакаться, и если бы здесь было купе вагона, а я не был соседом, с которым завтра придётся здороваться, то так и случилось бы. Странно, однако, мы склонны порой случайно встреченным людям открывать такое сокровенное, чего не доверили б и самому близкому…

— Мне ужасно неловко... да и не знаю, как вы отнесётесь к такой навязчивости. Только мне не к кому сейчас обратиться, а вы... — Она определённо знала, как я отнесусь к любой её просьбе. Разве можно отказать в чём-то женщине, когда она постучалась поздним вечером, и когда у неё усталые глаза, и когда за окном несётся откуда-то багровый снег?..

Предложить ей сесть? Кофе?

— И не беспокойтесь, ради бога. Просто мне очень нужно быть в час в аэропорту... а вызвать такси можно от вас. Если...

Я стал сбивчиво говорить, что нет никакого беспокойства, что я сегодня один и всё равно буду поздно работать, что рад буду хоть чем-то быть ей полезным — соседи же... И всё это — стараясь не натолкнуться на отсутствующий взгляд, не выдать своего интереса к ней. Потом — больше для того, чтобы как-то подтвердить свою готовность быть полезным, — предложил отвезти её самому.

— Это было бы самое лучшее, — сразу сказала она. — Нам ведь хватит сорока минут на дорогу?.. Двадцати? В половине первого буду готова.

И вышла, бросив резкий, что-то своё будто зачеркивающий взгляд на горящий за окном снег.

Когда мы садились в машину, снег перестал идти, хоть небо и было ещё затянуто низкими облаками. Было тускло и тихо. Доехали мы молча. Её рука лежала на колене, открытом полой чёрной шубы. Колено обтягивал тонкий чулок, а в руке подрагивала всё та же телеграмма, зачем-то взятая ею с собой. Казалось, молчаливая моя соседка так и не выпускала этот листок из руки с той минуты, как получила: словно конец нити, по которой надо идти далеко... Да мало ли что можно нафантазировать себе в молчании рядом с незнакомой женщиной, сосредоточенной в себе настолько, что жёсткая складка залегла у сжатых губ...

Мы подъехали к аэропорту.

Здание светилось суетно и сонно. И внутри царил напряжённый сон, изредка дробящийся голосом репродуктора. Здесь люди привычно оживали на мгновение, чтобы вновь окунуться в настороженную дрему. Свет ламп сжимал веки и накладывал резкие тени на обезразличенные сном и усталым ожиданием лица.

— Прибыл рейс Мурманск — Минводы, — сказал репродуктор. — Самолёт вылетит на Минводы через тридцать пять минут, — добавил репродуктор устало.

Моя спутница прошла на выход. Губы жёстко сжимались на совсем остывшем лице. Рука всё так же сжимала листок телеграммы. Навстречу ей уже вылились пассажиры приземлившегося самолета.

Вернулась спутница неожиданно быстро.

Я не заметил, как она подошла, а когда женщина тронула мой локоть — не вдруг узнал её.

Глаза — распахнутые глаза её — светились голубым мерцанием, как те маленькие, какие-то застенчиво-броские, бело-голубые цветы, что облепили большую ветку в руке женщины. Цветы были мне незнакомы, очень далёкие и нездешние, как и женщина, что явилась с ними. Шубка распахнулась, а губам моей вновь явленной соседки вернулась припухлая беззащитность. Телеграммы не было. Вместо листка бумаги держала она эту ветку с далёкими цветами, словно вобравшими в себя холодное, радостное снежное сияние, нежное и резкое, будто хруст утренней пороши...

На нас оглядывались пассажиры аэровокзала. И меня волновало это признание, пусть я и был простой случайностью.

Мне казалось, что и сон исчезал из-под высоких потолков зала ожидания. И само ожидание этих людей не казалось теперь сонным и бессмысленным. Они вырывались из случайной дрёмы своей и — улетали в другую, новую жизнь. Почему-то в дороге чаще пребывают мужчины.

Где-то их ждали уютные женские руки. Ждали раскрытые тёплые губы. И глаза, распахнутые невыразительными словами телеграмм. Ради тех глаз можно было вытерпеть даже обезличивающий тусклый свет всех станционных ламп...

Мы возвращались в тёмной, без неба, ночи, когда женщина протянула руку к ветровому стеклу. «Прошу вас, остановитесь!..»

Я выключил мотор. И свет. Вокруг было безмолвно и безлюдно.

А сквозь облака пробилась и вот уже выкатилась большая оранжевая луна. Стало светло, всё кругом залилось бело-голубым светом. Призрачным и всё же таким реальным, что хотелось почувствовать этот свет на ощупь.

— Когда она взойдёт — её везде видно, правда? — сама себе подтвердила женщина.

Мне представились далёкие заснеженные холмы, на одном из которых мог, наверное, стоять сейчас человек и так же зачарованно смотреть на этот оранжевый диск в небе. Мог стоять он и на вздыбленной волной палубе. Потому что, действительно, луна — видна везде, когда она взойдёт. И потому что она сводит взгляды этих двух, зачем-то разъединённых во времени и пространстве.

И, наверное, в этом пространстве меж ними есть свой смысл, как в той неувядшей ветке с белыми цветами, согревающей руку женщины. Как в том тихом свете, что обливает их обоих, когда взойдёт луна.

Есть смысл в напряжённых ожиданиях, стынущих женских глазах, готовых взорваться нежностью навстречу голубому сиянию. И блажен, кого видят эти женские глаза через дороги и время.

Когда взойдёт луна...

Яблоки

Юрию Казакову

Случай забросил меня сюда ненадолго, скоро уеду и никогда, быть может, не увижу ни моря, ни этих высоких чёрных осенью изб, ни этой древней поморки. Отчего же так таинственно близка и важна мне её жизнь, почему так неотступно слежу я за ней, думаю о ней, расспрашиваю её? А она не любит рассказывать...

Ю. Казаков, «Поморка»

— С десяток яблочек не продадите?

— Не-ет...

— Так неожиданно: здесь — яблоки. Я три рубля дам...

— Непродажные оне...

Путник удивлённо всмотрелся в женщину. Не то чтобы его очень удивил отказ, голос его изумил. Женщине было далеко за пятьдесят. Волосы седые. Морщины у глаз и губ... Но голос... голос был молодой. Очень. И нежный. Таким-то напевным голосом не отказные слова говорят. Путнику захотелось закрыть глаза, чтобы только слышать. Ему почудилось, что голос пахнет разломленным яблоком... вот тем... в котором только что отказано.

Собственно, это было блажью — попросить яблоки. Да и три рубля, что завалялись в кармане, ему ещё понадобятся...

Он хотел пить. Несколько часов шёл он этой пыльной грунтовкой, петляющей среди горелого леса. По его расчётам, оставалось ещё километров двадцать до той просеки, что выведет потом к топографическому отряду. Он шёл, ремни ящика с теодолитом всё больнее врезались в плечи, а колодца или ручейка не попадалось. И он клял ту минуту, когда отказался от измученной лошади, предложенной в конторе. Изредка топограф присаживался на краю грунтовки, надеясь на попутную машину. Но машин не было. И сидеть неловко: кололись звенящие иссохшие бодылья травы. И курить было горько, поэтому он поднимался и шёл дальше, лишь мысленно проклиная всё на свете.

— Как село-то ваше зовётся? — спросил путник.

— Велва прозвание ему, — ответила распевно женщина.

— Чудно́е название...

— Речка здесь Велва недалеко, от неё и пошло, нарядный мой.

«Ишь, *нарядный*...» — он повёл плечами, поправляя ящик на спине. Это было блажью — просить яблоки.

Просто очень неожиданным был этот сад, вдруг поднявшийся из-за поворота. Это был и не сад вовсе, а маленькая яблоневая рощица, возле которой осела в землю старая бревенчатая изба.

С ветвей свешивались настоящий ранет, настоящая антоновка. Найти их здесь, среди сосновых шишек, звенящих и колких... А сад был ухоженный. И в саду возилась эта старая женщина с удивительным голосом и выцветшими глазами. Жалко ей...

Конечно, это было блажью — спрашивать яблоки.

Он принёс бы их своим ребятам, ожидающим его с исправленным теодолитом там, на таёжной точке. Топограф облизнул губы.

— Водички хоть не найдётся, хозяйка? — сипло спросил он, прикрывая глаза.

— Непродажные оне… — повторила нараспев женщина, — так берите, сколь надоть. Коленька мой очень их любит.

…Дом был старый, рубленный, строенный надолго, с затейливой потемневшей резьбой по окнам. Внутри было тихо, чисто, а главное — прохладно. Топограф с наслаждением, задыхаясь, пил из кувшина воду. Ему сводило зубы. И только почувствовав, что вода стоит в горле, он сел прямо на пороге. Достал примятые сигареты и взглянул на хозяйку, нарезавшую хлеб.

— Курите, давно никто не курил… Двадцать с лишком уж табаком не пахло. И сын не успел научиться.

Топографу снова захотелось закрыть глаза. «Хоть петь её попроси… — зачем-то выплыла мысль. — И ещё одна блажь. А мне ещё тащиться. Надоело… сидел бы себе в управлении… таким бы голосом да песню подслушать…» — медленно подумалось ему.

Последний раз пела Татьяна летом сорок четвёртого.

Василий ушёл на фронт по второму году войны, не выдержал — сам ушёл. Это позже, через год почти, его годков призвали, эвон сколько ещё могли бы вместе побыть… А жили они неплохо до напасти той. Василий был мужиком степенным, даже в двадцать лет, когда он поймал её вечером на покосе и, горячий, потный, одуряя запахом травы и самосада, выдохнул: «Пойдёшь за меня?!» — даже тогда гляделся он степенным мужиком.

Ей было шестнадцать лет, и хотелось ей быть хозяйкой.

Жила она у бабки: мать умерла за неё от родов, а отец ушёл на сплав в заработки да и пропал «навовси».

Бабка была не то чтобы скупая, но женщина властная и — «самостоятельная», как любили повторять.

И считала себя благодетельницей. И подчёркивала это, ждала, чтобы близкие помнили и ощущали, любила, когда благодарили её. Деда она не ставила ни во что, в минуты раздражения звала его «пришляком» и «приблудным» — дом был её, а дед действительно пришёл сюда, в затерянную среди тайги деревушку, после войны с германцем.

Дед волок выбитую близким разрывом снаряда ногу, по России было голодно. А здесь жили хоть глухо, да сытно. Был он кузнецом, мог даже ружья чинить. Пришёл переждать голодное время, да так и присох возле бабки, овдовевшей года за два до его появления.

Чуть не каждый день бабка напоминала деду о своей семье, которая «держалась веры истинной и двумя перстами крестилась». А дед — Татьяна поняла это скоро — не верил в Бога вообще…

Он видел истерзанные снарядами животы с вывалившимися кишками, слышал прощальное хрипенье людей, здоровых ещё минуту назад, просыпался в лазарете от натужного кашля напоённого газом соседа, молящего деда «хоть додушить, раз пристрелить нечем…»

Дед в Бога не верил, но отчего-то не перечил бабке: видно, привык, а теперь, чего уж, — и помирать скоро. Потому он каждый раз сидел над едой и покорно ждал, прикрыв глаза и вздёрнув сероватый скоблёный подбородок, пока бабка дочитывала молитву. И терпеливо молчал на попрёки бабкины. А пенять ему причины искать нужды не было, корила хоть вот за тот же скоблёный подбородок, оголять который серьёзному мужику здесь не уважалось.

А в одном бабка была прекрасна. Но и — страшна, до холода под сердцем страшна… да истова.

В песне, в распеве причитанном, обрядном.

Её приглашали на свадьбы с поклонами. На похороны за ней присылали из других сёл, за пятнадцать, двадцать и далее вёрст. Там стояли такие же небольшие деревушки, в которых сберегали жуть старинного причитания над покойником, в которых трудно расставались с уходящим навсегда из жизни человеком, в которых человек по смерти своей обретал наконец лучшие свои черты в памяти живущих дальше на земле отчей…

Татьяна несколько раз ходила с бабкой и никак не могла привыкнуть к её голошению.

Да и никто не смог бы остаться спокойным под этим голосом, который рыдал, истекал воем, дрожал болями и страстной тоской, рвался из земли. И снова уходил — в землю. Бабкой овладевало дикое, тёмно-зелёное, кликушеское — вечное провиденье начала и конца.

…О-ой-ей, уже куда-то я
ни погляжу,
О-ой-е-ей, да ведь нигде-то его
нетутка!

Это не было уже только игрой, только обрядом не было. Песня становилась укором живым, к доброте звала и прощению. Стоном рухнувшего дерева, воплем овдовевшего лебедя — была она, её песня…

А-а-а-и-их… Отходил-то резвы ноженьки,
Оттоптал траву муравую,
Отмахал своим белым рученькам,
Отглядел очам ясным…

Прощанием и прощением были песни те. А может быть — болью тех гонимых крестьян, что сгорали огнём, уходили в неведомые и моровые леса, но верили в своего Бога. Потому что ни во что уже верить было невмочь… и жить-то было невмочь. Потому что земля-то рожает, да ближний отбирает: и лешего болотного назовёт человек богом, чтобы скрыться от несправедливости жизни да род свой всё ж продлить, как то природой заказано.

В такие дни бабка казалась тенью, двигалась на ощупь. И не молилась…

Она садилась рядом с дедом, и дед гладил её волосы, и слёзы стояли в льдистых дедовых глазах. И Татьяна понимала, отчего дед уже давно не подался прочь, отчего он так терпелив и покорлив. Он любил бабку, он видел её сквозь попрёки; знал он ей благодаря истинного Бога — несломленного, хоть и истерзанного, гордыней человеческой истерзанного, гордыней и властолюбием… Человека он при бабке познал корневого, природного, оплаканного многажды и вновь живого в корне неистребимом…

Но бабка опять становилась властной и «самостоятельной» — обычной, вседневной. И тогда особо не было житья с Татьяной от попрёков её. Как же не хотеть Татьяне быть хозяйкой в своём доме?

Василий тоже был чужаком, из другого села, где жили «одни нехристи», по бабкиному выражению. Был он плотником, да каким! «С живинкой — Маастер», — бурчал о нём дед, сам не без рук проживший.

Когда Василий ставил кому избу, на резные наличники да на крыльцо «с затеей» посмотреть всегда сходились, а стены внутри медово желтели и ровны были — рукой води детской, не занозишь. И не было дома, который он отделал бы под прежний: «Скушно в похожих-то домах жить, так потом человека не различишь — все дома под один вместе с душами стешут!» — говаривал после Татьяне мудрёно, да она и не вникала: то его дело, он мастер — ему знать лучше...

Бабка сразу его невзлюбила — за табак. И крестилась, говоря, что уменье парню нечистым дано. Это ей не помешало, однако, принять, чтобы Василий срубил новое крыльцо да ставни подправил. И на свадьбу она согласилась сразу, видя Васю всегда при деле: «И рот лишний мне ни к чему на старости. А ты в гости не ходи: я приходить буду, когда надоть. Да избу сруби себе людскую — другим-то ладишь, а сам в бане живёшь, нехристь!..»

Непривычно и ладно жилось Татьяне с Василием с первых самых денёчков, как принёс он её, телом горячую, а холодом от счастливого страха продроглую, в избу с запахами смоляными.

На деревне бабкиной считали Василия чуточку не в себе: мог он сам стирать, когда Татьяне не управиться было, да не в избе, а прямо во дворе, что мужику совсем-вовсе не пристало. И добр был слишком — и не обидишь ничем, и отдаст, что имеет, коль попросить. Безотказно на добро жил. А то, ещё чище, мог схватить Татьяну на руки — силён ведь как: шея, что твой столб, надёжно подымалась! — и нести, улыбаясь, через всё село, она только лицо прятала закрасневшее. Не вырываться же на людях, не срамить мужа...

Не принято, не в обычье такое здесь у них, других нравов люди здесь жили: в себе больше таить привыкли. Исстари отучили доброту выказывать, старались долго — и отучили. Доброта опасна ведь: её не сдвинешь, да и что ждать от неё — неведомо...

Вот разве дед один понимал и всякого принимал Василия. «Оба пришляки, да бить их некому», — определяла теперь бабка. Татьяне же сладко-хорошо становилось, когда подхватывал её Василий на руки, носил по избе, а половицы скрипели и тоже радовались. Потом садился на кровать, им же выстроенную, держал Татьяну на коленях и шептал в ухо жарко да боязно, так шептал, что огнём плескалось у Татьяны внутри: «Вот скоро сын будет у нас... сын!..»

А в остальном был он степенный мужик, Василий её. И заработать умел, и по хозяйству что, и пил редко — больше для компании с дедом. Она ж и не попрекала — мужское дело, после бани и нищий пьёт, как квасом на камни льёт.

Ладной была кровать, выстроенная Василием, широкой да прочной, плыла и пылала кровать их любовью и холила Татьяну, детей принимая.

Вот только сына всё не было, а ей так хотелось угодить мужу.

Уж пятая дочка родилась, все погодки почти, а сына — как заговорили. Дочери-то на сторону пойдут, как в крестьянстве без сына? Кому Василий свою «живинку»-то мастеровую передаст? Татьяна и бабку просила — пусть помолится, и к знахарке-ведунье бегала, хоть не вовсе верила наговору, а вдруг и поможет. И пила траву какую-то, противная трава, горькая, а всё же — как знать... «Брось ерундовину эту, — говорил тогда Василий, гладя Та-

тьянин вновь кругливший ся живот, — дочки чем плохи, на тебя похожи будут! А дрянью этой ещё опьёшься, куды я без тебя-то?..»

Коленька родился седьмым, за два года до войны. Недаром ведётся: счастливое число — семь-то. Уж осень стояла, слякотно. Муж в сенцах ждал — скрёбся в двери. Бабка пыхала на него. Легко родился сын, куда легче дочек, хоть и покрупнее был: видно, жданность облегчила, опростала, кричать и не пришлось почти. Вот тогда Вася её напился первый раз, но он и в сильном хмеле тихим оказался.

Как сын родился, и бабка Василию буркнула о том в щёлку, так тот сорвался — к деду. Взял лошадь — бабка-то с Татьяной возилась, не дала бы, — да и рысканул в город за водкой. Два ящика привёз, ничего боле: чуть не вся деревня дурной ходила. И самогон нашёлся — до утра не утихали мужики. Им что — был бы повод, а Василий её счастьем дышал. Утром подполз к кровати, бабка шипит на него, а не остановить уж — слёзы у мужика не пьяные, да руку Татьянину целует, что свесилась к полу. Здесь и уснул, к сыну его не допустили, издали показали. Татьяна и не сердилась: тоже ведь счастливой себя знала...

Да и навторы не сердилась, как напился: горе пришло великое, горше водки перечной. Второй раз оглушил себя Василий, как умер дед. Только смерть дедова — те полгоря, что большому горюшку по следу шли...

Война началась. Поперву-то она их села никак не коснулась, далеко была. Потом ребята молодые уходить стали, с каждого двора, почитай, отправляли. Татьяна радовалась, что Коленька их маленький совсем, его-то уж никак коснуться не должно, не век же войне той, будь она неладна. Василия тоже пока не тревожили, при такой-то ораве малолетней. Работы ему меньше стало плотницкой, в бригаду пошёл: кому строиться забота, когда напасть такая — до самой Москвы докатилось...

Тут и пришла похоронная на Сергуню — соседей бабкиных, Клунёвых, сына. Первая смерть пришла от войны, все ещё помнили, как бабка уши драла Сергуне, когда тот вечером в трубу гудел да урчал и чуть не до смерти напугал бабку; но не выдержал — засмеялся, тут бабка отошла от испуга и скараулила баловника; Клунёвы-то, соседи, не сердились — за дело драла, у детей почтение всем миром насаждать надо.

А вот теперь и нет Сергуни...

Целый день над избой рвался бабкин голос:

...О-ох! Я бы знала, горемычная,
Где лежит да моё дитятко...
О-о! Я ходила бы частешенько
На круту гору высокую-ую...

Песня не должна была ещё кончиться, голос ещё над избой полыхал, а уж тихим-тихо вдруг стало. Люди, что во дворе собрались, будто перед выносом покойного, песней оглушённые, тишиной такой вовсе согнулись, торопко всем стало. Потом — вой хриплый, нелюдской: то дед опомнился, холод бабкин в руках почуял, нежилой она к деду приклонилась. Он всегда с бабкой ходил, где бы она ни пела. А в этот раз не выдержала бабка напряги собственной песни, задохнулась... насовсем умолкла. Вот куда война сразу до-

стала, считай, от неё и бабка за Сергуней ушла. Деда еле оторвали от холма свежего, только не жилец он ужо был, неделю продержался и угас тихонько, никого не обременяя. Рядом с бабкой его Вася уложил в землю…

Ушёл Василий на фронт сразу после смерти деда. «Не могу я больше, здоровее ведь других молодых. Ты уж прости меня…» Татьяна не держала, хоть восьмой раз на сносях была. Ему и так тяжело там думать-тревожиться о них будет. Только прижалась животом к нему напоследок: «Целы будем… ты-то поскорее вертайся!..»

В лето сорок четвёртого пела Татьяна…

Весело пела: зима прошла, теперь жить легче станет, пережили зиму. Пела потому, что Белоруссию освободили. Далеко это от них, а всё земля своя. Значит, скоро теперь уже войне конец. Пела потому ещё, что вчера только получила от мужа письмо.

Когда опять постучал почтарь, она младшую Василису умывала от грязи. Весело мыла дочку, с детской песенкой весенней. Последней была Василиса, без мужа называла.

Похоронку принёс почтальон.

Тогда и спела Татьяна свою последнюю песню, бабкину песню, запомнила она песни бабкины. Пусто и холодно стало в мире, и в сердце пусто да гулко стало, ничего не видела Татьяна — только Василий колыхался перед ней, будто сквозь туман прорывался. Не мёртвый: он снова брал её на руки, раскачивал её, миловал и смеялся и гладил живот… который уже никогда не станет круглым.

Она не помнила, как начала повторять бабкины слова, как рвали они её и рвались из неё. Своего голоса она не слышала, а песня уходила… куда?.. где он?..

…Дух мой, научи ты меня,
ка-ак дом-то домить
Да и деток-то подымать!..

Она не помнила, когда соседи разобрали перепуганных детей, не видела, как бросались бабы, придавленные песней и собственным горем, на землю:

…Со-овсем… совсе-ем ушёл…
у-шё-ол…
О-о-о-ой… да со-овсем…

Непонятно, как и откуда подошёл сын к Татьяне. Подошёл и ткнулся лицом в руку, добрым кутёнком ткнулся. Тогда прорвались наконец слёзы из сухих глаз, притупили, обессилили горе. А Коленька не отходил от неё, молчал и лежал рядом. И надо было дальше жить, детьми жить, без мужика на земле трудно это, да ведь руки на то и даны — работой их не напугаешь… Пенсии Татьяна не хлопотала, не за тем Василий уходил. О пенсии её возвестил военком, сам всё оформил. Не бог весть как велика солдатская пенсия, а всё ж подспорье — умеючи-то.

Вырастали дочери. Уходили они — для того и ро́стила, чтобы тоже детей рожали да дом вели. Все разошлись: красивые девки, и к работе приучены.

Одна Василиса — мала, да и легче ей уже досталось жить: в техникум уехала… потом уехала. И Коленька рос.

Пошёл сын в отца. Добрым был — это само собой. А однажды протянул матери кусок картона, на картоне том — Василий… как живой, похож. Совсем молодой ещё, однажды и снимались они: шрам у него в то время не затянулся, щепа ему бровь со щекой рассекла, на доме, что Агафоновым ставил… А здесь фотограф возьми да приедь.

Татьяну захлестнула старая боль. И благодарность сыну — за память да за боль эту, в которой ещё раз прожитое пережить удалось. И радость — талантности сыновой. Хоть и не понимала она, в чём на этом рисунке отличие от давней фотографии, а всё ж почувствовала, что чего-то своего добавил сын, живее, что ли, прости ты меня, Господи, стал здесь Василий, а сквозь него и Коля проглянул. У времени да у судьбы свои законы: эвон через сколько Василий-то повторился… тот же, а и другой.

А в то утро проснулся Коленька не в себе. Ломало его тело растущее, неловко да больно взрослел сын: на шестнадцатый год потянуло, совсем стеснительный стал. «Не могу, мам, идти что-то, голову кружит…» — пожаловался. Он тем летом у геологов подрабатывал, дырили они землю рядом с селом, а ему съездить в Москву хотелось, посмотреть мир кому не хочется, это с возрастом понимаешь, что мир разный, но ты-то всегда един, везде, сколь ни езди. Отправила его — люди ведь работу ему дали, ждут, ловко ль не прийти. Не болезнь ведь — усы пробивались, то зрелость его ломала. Отправила.

Сама за хлебом да на базар уехала, оказия шла с грузом, напросилась помогать. Там и яблоки увидела, мало их в северной стороне, кто их в глухомань повезёт, Коленька давно пару яблок просил — срисовать хотел живые, вот почему-то наваждение такое, как во сне ему привиделось: большое такое яблоко да яркое, а рядом ветка еловая, густая, а за ними окошко с узорочьем морозным… Это ему так виделось, а Васёна бы съела те яблоки… Ох, и дерут же за яблоки на рынке, но выбрала. А затемно и воротилась, порадовать хотела — уж таких красных купила, и крепких — с хороший кулак мужичий. Дома сына не было. Опять, решила, заслушался там у костра, слушать он любил, а геологи всё люди новые, бывалые да хожалые, как не понять ей интерес сына. Но всегда тревожно матери, когда сын не с ней…

Как в окно стукнули — оборвалось сердце, горячим пошло внутри, хоть и неоткуда худа ждать вроде. Чужой был стук, да беду не зовут — сама приходит.

…Не уберегла-а-а… сына-а… сына-то не-е…

Василий то в ней крикнул. Сама — и кричать не могла. И слёз не было. Все три ночи, что возле тела сыновнего лежала, не было слёз; и горе не болело — пустая пустота вокруг и в ней только и заполонила всё.

А он, Коленька-то мой, лежал без проклятия на лице, тонкое лицо-то стало и спо-окойное, словно пришёл куда. И не признаешь, что разбился с вышки: ни кровиночки не вышло, стряхнул, говорили, что-то в себе. Её, Татьяну, он стряхнул…

— …А, хозяйка? Задумались о чём? Спасибо за хлеб-соль, за яблоки ваши. Я всё ж заплачу за них, хорошо?

— …?

— Ну, ладно-хорошо, не обижайтесь! Ребятам отнесу — порадуются, здесь — яблоки! А тихо ж вы живёте, как можно: ничего вокруг не происходит никог-

да, так и говорить разучиться можно. От скуки одуреешь! — Топограф встал, сладко напряг мускулы, взял рюкзак. — Пойду.

— Земля здесь, когда ж скучать? Живём... — тихо сказала женщина. — Возьми ещё яблок, ты ведь геолог, чай? И до тебя геологи работали здесь... такие же нарядные...

— Да, мы старыми профилями идём. Пора мне, топать ещё... спасибо...

...Уходил топограф деревней. За глухими заборами настороженно хрипели собаки. На повороте он оглянулся. Солнце уже клонилось к закату. Сад был виден отовсюду. К саду бежали какие-то ребятишки.

Только сейчас ощутил, почему остановился именно перед этим домом, не мог не остановиться, понял, чем привлекал и выделялся дом, перед которым так неожиданно росли яблоки. У дома не было забора. «Ишь ты, *нарядный!*» — словно пропелось ему, и топограф ходко зашагал дальше.

«Берите, сколь надоть берите!»

«Берите».

«Берите...»

Игорь Белов

Родился в 1975 в г. Ленинграде. Поэт, переводчик. Член Союза российских писателей и Русского ПЕН-центра. Лауреат Всероссийской литературной премии «Эврика!» (2006), Международного литературного Волошинского конкурса (2011), стипендиат Министерства культуры РФ (2003), Шведского института (2007) и министра культуры Польши «Gaude Polonia» (2009, 2012). Редактор и составитель сборников «Солнечное сплетение» и «Дети бездомных ночей» (оба — совм. с С. Михайловым). Книги стихов «Весь этот джаз» (2004), «Музыка не для толстых» (2008). Публикации: сборники «Антология калининградской поэзии» (2005), «Солнечное сплетение» (2005) и «Дети бездомных ночей» (2006), журналы и альманахи «Знамя», «Новый мир», «Октябрь», «Дружба народов», «Континент», «Воздух», «Насекомое», «ШО», «Интерпоэзия», «Новая Польша», «TextOnly» и др. Стихи переведены на английский, немецкий, шведский, польский, эстонский, украинский и белорусский языки.

дредноуты

в баре «Дредноут» ночью мне снится свинцовый дым
кошмар на улице Генделя становится вдруг родным
пену морскую с кружек ветер уносит вдаль
а чёрным дырам колонок вообще никого не жаль

за стойкой меняют пластинку так долго ищут её
будто меняют родину — ну или там бельё
в меню полыхает надпись — одевайся и уходи
всё правильно ставят группу по имени «Бигуди»

я вслушиваюсь как реки прочь от себя бегут
злодей вытирает лезвие о майку Johnny Be Good
любовь моя говорит во сне за ледяной стеной
и море шумит в заблёванной раковине жестяной

на деле же всё не так и в этот сплошной отстой
с безалкогольной музыкой приправленной кислотой
приходит местное время с улыбкой но без лица
и разводит на жалость голосом Гришковца

вот мы сидим гадаем сколько нам ждать зари
если уже бледнеют ржавые фонари
на какие ещё глубины опустится не дыша
наша с тобой бессмертная силиконовая душа

разве что просигналит в память о прежних днях
тонущий супермаркет весь в бортовых огнях
и проплывут над нами спутавшиеся уже
чьи-то тела из пластика или папье-маше

только бы взять тебя когда подойдёт волна
на руки словно куклу выпавшую из окна
чтоб уловить в подъезде обнимаясь с тобой
искусственное дыхание ровное как прибой

опора звука

когда ты забудешь улицы списанные с натуры
всё что хотела сказать и поэтому не сказала
эти сумасшедшие дома контркультуры
эти сердца пустые как заминированные вокзалы

оставь мне контрамарку в билетной кассе
распишись на афише смахивающей на парус
я поеду на твой концерт а выйду на пустой трассе
и увижу отлетавший своё икарус

где от карты прибалтики осталось два перекрёстка
на чёрных от асфальта и крови ладонях
и обрывки музыки для подростков
разгуливают в сгоревшем магнитофоне

вот так мы поймём что не сыграть по новой
а мотор молчит наглотавшись боли
и очнёмся на дискотеке в заводской столовой
холодной словно зимнее футбольное поле

не принимай это слишком близко
и смерть однозначно пройдёт мимо
если с тёмной стороны жёсткого диска
ты выдохнешь мелодию как струйку дыма

затянешься снова и задержишь дыхание
хотя его и так с избытком хватает
для занесённого снегом расширенного сознания
которое проснётся — и вдруг растает

Дивизия радости

Мы были раной сквозной, мы были улыбкой хмурой,
мы приезжали домой ради подруг белокурых,
но встретив тебя, я заметил — вот уж который день
стучит в моём сердце пепел сожжённых мной деревень.

Я из последних сил звал тебя — ахтунг, бэби.
Голос твой сладкий плыл в расово чистом небе,
и обречённо, что ли, проваливалась земля
в глубокие, словно штольни, ночи из хрусталя.

Кто знает, в каком вообще салоне была набита
на смуглом твоём плече эта звезда Давида,
днём ли, вечером тусклым, утром ли золотым
ты стала немецкой музыкой и превратилась в дым?

Мелодию улови, чтоб в недешёвых клубах
взрывная волна любви нас била о стенки, глупых,
чтоб ночью, жонглируя эхом цепей, диктатур, систем,
DJ Stalingrad подъехал — и развезло б совсем.

У городских ворот, где снег до сих пор обоссан,
будет лежать мой взвод в мундирах от хьюгобосса,
будет закат огромен, холод неповторим,
но море разбавят кровью, и оживёт гольфстрим.

Слушая хриплый вой лучших радиостанций,
поговорим с тобой — лишь бы не потеряться
там, где не плачет ветер о перемене мест.
Где никому не светит южный железный крест.

радио свобода

как ты эту станцию ни назови
путаясь в потёмках и FM-именах
продолжается виндсёрфинг во имя любви
на коротких и длинных радиоволнах

небесный ди-джей голубой плейбой
в чистом эфире расскажет тебе
что мы уходим под воду и звучит отбой
исполняемый среди ночи на медной трубе

ложись-ка рядом со мной на дно
жёлтая подлодка с пулей в груди
на мокром асфальте бордовое пятно
что там ещё ждет тебя впереди

когда в радиорубку пускали газ
статуя свободы оживала на раз
на платье для коктейлей проливая двойной
венсеремос разбавленный феличитой

а теперь другое дело пусть грянет гром
перекрестившись самолёт взлетит
голоса ставит на ноги кубинский ром
словно божий промысел набранный в петит

он закрывает студию гасит свет
пастырь гопников король шпаны
покупает револьвер в пляжном кафе
прячет его в свои драные штаны

и выходя из тени могильных плит
генштабу всего мира вышибает мозги
хотя нет патронов и курок барахлит
и ствол завязан двойным морским

Открытка из Вильнюса

Галине Крук

картонная бабочка выпорхнула из рук
и растаяла в воздухе хлопнув дверью
нержавеющий ливень молча стоит вокруг
и теряет время

я никогда не узнаю — настолько почерк размок —
где теперь тебя носит словно письмо в бутылке
и в каком кафе цеппелина свинцовый бок
распорот ножом и вилкой

под какими звёздами дыхание затая
за тобой наблюдает уже полвокзала
а из динамиков льётся через края
первый весенний гром со вкусом металла

я тебя буду помнить даже когда умру
так вот они и звучат на улице и в квартире
чайкам не обломившиеся слова на морском ветру
и не поймёшь что в записи а не в прямом эфире

к северу от границы крутят песню о двух мирах
заткнувшую глотку морю и антициклону
это вильнюсский поезд несётся на всех парах
жемайтийского самогона

Последнее танго в Варшаве

нас обоих развозит от слов разлуки плюс ко всему
валит с ног огненная вода фри-джаза
извините панове я футболку с тебя сниму
это все проблемы снимает сразу

всё что мы взяли у музыки мы ей всегда вернём
и она оставит нам — без вопросов —
только нервные клетки пахнущие зверьём
и не добитую до смерти папиросу

то ли дождь прошёл то ли в причёске сверкает лак
по-любому для нас с тобой облака на порядок ниже

наши короткие жизни проглатывает мрак
как дисковод — болванку с «Последним танго в Париже»

бог моего сновидения он ни хера не прост
за круглосуточным баром и чёрными гаражами
музыку не для толстых он делает в полный рост
значит будет ещё у нас детка последнее танго в Варшаве

пусть шляется за тобой невыспавшийся конвой
каждый кто был в разной степени тебе близок
и пограничник поляк загранпаспорт листает твой
как донжуанский список

ржавая магнитола играет на дне реки
в кинозале включают свет и я слышу голос почти забытый —
вставай тут Марлон Брандо погиб за твои грехи
а ты спишь как убитый

Моё чёрное знамя

Столица дотачивает ножи,
солнце отчаливает в офсайд,
радуга в редких лужах лежит,
почти закатанная в асфальт.
И, словно удолбанный санитар,
в дверях возникает Цветной бульвар.

По горло в его золотых огнях
мы плывём туда, где гремит Колтрейн,
где мама анархия, лифчик сняв,
молча сцеживает портвейн.
В этой квартире всю ночь напролёт
я жду рассвета — за годом год.

Спичка, погаснув, летит в окно.
В лёгких стоит сладковатый дым
и не уходит. Портрет Махно
был чёрно-белым, а стал живым.
И я поворачиваюсь к стене:
«Нестор Иванович, вы ко мне?»

Он говорит: «Не наступит весна,
вы давно просрали свой отчий дом,
на карте битой эта страна
лежит сплошным нефтяным пятном.
А в стакане с виски, как пароход,
качается алый кронштадтский лёд.

Где твои любимые? Нет как нет,
их улыбки я скоро навек сотру
со страниц пропахших свинцом газет,
а потом с «одноклассников.точка.ру».
Что тебе офисный ваш планктон?
Двигай за мной, с'mon.

Вам, хлопцы, с вождями не повезло,
у них силиконом накачан пресс.
Вот оно где, мировое зло
с газовым вентилем наперевес.
Стальным коленом нас бьёт в живот
доставший всех Черноморский флот.

Рви системе глотку, пока ты жив,
отвернись навсегда от её щедрот.
Это совесть наша, бутылку открыв,
отправляется в сабельный свой поход.
Главное, взять без потерь вокзал.
Думай, короче. Я всё сказал».

И он уходит сквозь гул времён.
Судьба совершает нетрезвый жест.
Шторы шеренгой чёрных знамён
яростный шёпот разносят окрест.
И словно в мазут окунают меня
чёрные наволочка и простыня.

От всего на свете позабыт пароль,
потому и не по-детски ломает нас,
наша персональная головная боль
уже несгибаема, как спецназ.
И однажды жизнь, что была легка,
в кружке пива спрячет удар клинка.

Вот тогда мы увидим — горизонт в огне,
джунгли наши каменные сжёг напалм,
и с бубновым тузом на каждой спине
валит конармия в гости к нам:
вот король, вот дама, потом валет,
а за ними на полном скаку — конь блед.

И дышать мы будем, во веки веков,
позолоченной музыкой их подков.

Стихи о Малыше и Карлсоне

...Карлсон харкнул мимо урны и улетел

Данила Давыдов

ради простуженных голосов в ночных магазинах
ради горячих сердец под капотами легковых машин
в центр города в полночь слетаются души красивых
умных и в меру упитанных мужчин

захватывают кафе и бензоколонки
ревнители не глаженого белья
гроза отечественной оборонки
один из них ты а возможно я

они перегаром на звёзды дышат
в скверах распугивают ворон
и отъезжает твоя стокгольмская крыша
в охваченный бурьяном микрорайон

ты ждёшь пока фонарь под глазом потухнет
просыпаешься мёртвый и больше вообще не спишь
и в один прекрасный день читаешь на стене в кухне —
«ты никогда не повзрослеешь Малыш»

жизнь справляется с нами одним ударом
когда осень на горло наступает со всех сторон
и всё что горит это луна над баром
похожая на монету в пять шведских крон

и мы пьянеем уже просто понюхав пробку
погибаем с грацией подбитого корабля
но по привычке ищем на брюхе кнопку
если вдруг уйдёт из-под ног земля

Хартбрейк-отель

Всё, что происходит сегодня между нами, тянет на последний перекур на линии огня. Теперь любая песня на радио начинается словами: «С тех пор как моя девушка бросила меня...» Время бросать любимых и собирать чемоданы, время останавливаться на КПП. Но где же вы, где, мои дальние страны, ведь только вами я обязан судьбе?

На этом чудовищно весёлом старте таможенные правила бьют под дых, и мой последний адрес найдут в миграционной карте, на которой не осталось точек болевых. Название этой гостиницы совпадает с названием города: отель, в котором вдребезги разбиваются сердца, в нём круглые сутки ставят запись, давно запоротую, — мой первый винил, усеянный шрамами в пол-лица. День за днём меня, как флаг на ветру, полощет где-то, я беру на рецепции всё, что мне по плечу, на мою кровать садится чёрный человек из гетто, вот только умирать я пока не хочу.

Вечерний эспрессо скоро съедет с рельсов, таблетка снотворного спросит — как дела? А потом мне споёт обдолбанный Элвис про голубые туфли и розовый кадиллак, и что он готов отдать душу за рок-н-ролл, от любви теряет голову — а это полный п...ц, и она болит, когда тинейджеры играют ею в футбол в коридорах отеля разбитых сердец.

Пули над Бродвеем

Перед тем как спустить курки, поглядите на наши лица.
Вот, зарыв бейсбольную биту и новых наделав ксив,
солнце жизни моей
на скамью запасных садится,
с головой погружаясь в оранжевое такси.
Но на здешних широтах
ей развернуться негде,
и вползает во двор машина с простреленным колесом,
и наши сердца цвета ливийской нефти
о волнорезы памяти разбиваются в унисон.

О такой любви
в каждом баре поёт Синатра.
После этого всё позволено, говорят.
Тем убойнее ночь, бесконечная,
как сигара,
на огонёк которой слетаются все подряд.
И, в пыли земной перепачкав пиджак и брюки,
настоящее время
в грядущее когти рвёт,
за окном проплывает промзона размером с Бруклин,
и фигуры нетрезвой речи вмерзают в лёд.

Проведи меня к людям живым,
золотая моя лихорадка.
Да очистит мне кровь невозможный сухой закон.
Я застыну опять над бутылкой с морским осадком,
пока плещет о сваи жестокий двойной бурбон.
Моя круглая родина,
глобус мой слезоточивый,
ты ни шагу назад, а если я вдруг умру —
о закрой поскорее своё либеральное чтиво
и подельников бедных моих позови к топору.

Я клянусь, заштормит.
Распахнётся окно монитора,
и любовная лодка даст понемногу крен,
чтобы нам, бестолковым сказочным мореходам,
заказали по рации хор полицейских сирен.
В негритянском раю,
на дымящейся кухне адской,
я схлопотал бы маслину в широкий лоб.
Здравствуй, жизнь. Демонстрируй своё фиаско
фонарю, близорукому, как циклоп.

Наталья Антонова

Родилась в 1977 в п. Янтарном Калининградской области. Участник проекта «Балтославия» (2007). Публикации: сборники «Дети бездомных ночей» (2006), «Молодые голоса: Выигрыши» (2007), журналы и альманахи «Параллели», «Воздушный змей» (Эстония), «Postscriptum» (Швеция), «Reflect» (США).

ПЕРЕМЕНЫ

Исполнение

Если верить на слово тем, кто сведущ в потусторонних делах, может, и нет ничего, всё пустое, но я слышу твой голос, чувствую твоё тепло и солнечный запах верескового мёда, который ты предлагаешь мне к чаю, и если я поцелую тебя, то увижу, что ты есть, и лишь затем спрячу тебя в конверт, лизну на прощанье, напишу адрес, случайно пришедший в голову, лучше всего до востребования, наклею марку с видами Лхасы, брошу в пустой почтовый ящик, которого нет, синий, нет, голубой, такого, знаете ли, небесного цвета.

Суд

Потребовать вдруг невозможного от сурового и справедливого небесного лица и заступиться за всех людей разом, за всех богов, голодных духов и зверей, за птиц и насекомых, за людей, которые, словно черви, извиваются в собственных нечистотах, за богов, путающихся в складках своих выгоревших одежд, за духов без тела, но с плотскими желаньями, за зверей с человеческими глазами, за птиц, мёрзнущих в ожидании её прихода, только её одной — весны, и кружат бабочки, пчёлы, чёрно-белые шмели над единственным цветком благоуханным, и одно его присутствие вселяет надежду.

Войско

Такая оглушающая тишина стоит (ни стона, ни всхлипа), что хочется закричать, что есть сил, крик обрывается сам собой, когда замечаешь: какая тишина вокруг, ещё не улеглась пыль, все малые и большие водоёмы до краёв наполнены кровью, в багряном закате догорают дома, с любовью построенные ради долгой и счастливой жизни. Только вчера закончилась война, закончилась, потому что закончились люди, способные её вести, позавчера их ещё оставалось трое или четверо, сегодня же не осталось никого, кто бы мог спросить, с недоумением озираясь по сторонам, с чего началось это отчаянное смертоубийство, никого, кто бы мог ответить. А уж назавтра жди гостей: прямо с утра сюда сбегутся стаями дикие бродячие псы, слетятся стервятники-одиночки и устроят себе настоящее пиршество, не отличая врагов от друзей, хороших от плохих, тех от этих, лежащих теперь вповалку, в обнимку и как придётся.

Через год или два эта земля даст невиданный урожай, только некому будет его собирать.

Приближение

Все улицы впадают в море, и если, долго ли коротко ли, идти по одной и той же улице, не сворачивая на другую, не заходя к друзьям, чтобы погреться

и выпить чаю, просто всё время идти, то выйдешь прямиком к морю, урчащему, словно дикий кот, к морю, бросающему в глаза солёные брызги. Нас с тобой в таких очевидных, на свежий взгляд, вещах убеждать не надо, может, пожалеем тех, кто, куда бы ни шёл, всегда оказывается лицом к лицу с самим собой? Пожалеем и всё расскажем, ласково шепнув каждому на ухо: «Распознай!» Распознай доброе в злом, сильное в слабом, красивое в безобразном и наоборот, распознай себя во мне, себя во всех остальных людях, животных, деревьях, камнях, распознай сияние в полной тьме, подступающей со всех сторон света.

Воспитание малым

Вечером в ночь прямо с утра пополудни загляну в безнадёжные глаза принадлежащих мне мертвецов, в которых ничего не разглядеть из-за медяных пятаков, лежащих страшной тяжестью, чтобы навсегда закрывшиеся глаза не раскрылись вдруг, не распахнулись, как двери, в мир тех, кто ещё жив, и не впустили бы случайно вслед за собой сонмы мёртвых, которых настолько больше, чем живых, что даже все круглые солоноватые камни больших и малых морей не в счёт. Случись такое, никто уже не смог бы провести границу между мёртвыми и живыми, живыми и небом, небом и землёй, чтобы обнаружить себя внезапно среди живых.

Расцвет

В окно слепо протискиваются яблоневые ветки, голые, чёрные и влажные. Ты раздеваешь меня. Моё тело светится и чуть приподымается над поверхностью, чуть-чуть, едва заметно. Мне не стыдно быть голой — больно обнажить душу. Сгорает дотла душа от твоих прикосновений, благоухает божественным сандалом, корицей, шалфеем, котовьей мятой и гусиною травой. Наши тела сплетаются в одно, и ты, немного отстранившись от меня, видишь, что я, будто зеркало, отражаю всё и ни в чём не отражаюсь; я же вижу, как ты, словно дерево, густо усыпанное плодами, собираешь богатый урожай с тех, кого досыта кормишь собой.

Упадок

Бросаю в море зелёное сладкое яблоко и слушаю, как ровным счётом ничего не произошло: как мне не жаль яблока, как море ничего не почувствовало, как яблоку всё равно, где быть. Затем копошусь в прибое, будто курица, пытаясь отыскать что-нибудь действительно необыкновенное, то, чем я ещё ни разу не обладала, с трудом представляя, однако, как это может выглядеть при первом рассмотрении. Чёрное, должно быть, и округлое, словно камень, который я бросаю вслед яблоку так далеко, насколько хватает взгляда. Понимание приходит внезапно: мой личный опыт закончен. Я могу не спешить больше раньше всех прибрать к рукам найденное и не торопиться сбыть с рук то, что пришлось не ко двору, можно остановить поиск, поудобней улечься в воду с головой. Пусть теперь меня поищут.

Родня

Чистый лист бумаги дан лишь тому, кто заполнил себя до основания жизнью. После смерти его свернут трубочкой, аккуратно подожгут, медленно вдохнут в себя и выкурят из общей трубки мира вместе с теми, кого ты любил, и с теми, кого сначала почему-то любил, а затем лишь тихо ненавидел, и с теми, кого сначала возненавидел, а потом полюбил, и с теми, кого никогда больше не полюбишь, и с теми, кого так и не разлюбишь, чьи лица будут маячить светлыми пятнами у твоего неподвижного лица.

Обладание великим

Поворот, ещё один, теперь, кажется, направо, и я наконец берусь за дверную ручку, отполированную до блеска парой тысяч прежних рук, и дверь отворяется. Перед моим настороженным взглядом предстаёт обыкновенная на вид комната: светло-серые стены, стол, стул, тёмно-красный ковёр на полу — переполненная до предела полупрозрачными, газообразными сущностями, людьми из плоти и крови, животными всех видов и мастей, шипящими, мычащими, крякающими и квакающими. Все они толкутся, перемешиваясь в невообразимую кашу, каждый из них стремится оказаться в самом центре, ровно в центре, именно в центре. Ловя себя на мысли, что в этой комнате едва бы поместился один человек, отягощённый призраками прошлого и стареющей собакой, понимаю, что в центре стою я. Лицо моё выражает покой. В голосе звучит сострадание. Руки раскинуты для объятий. Многие хотят оказаться на моём месте. Никто им не мешает.

Смирение

Закрой глаза, и под тёплыми веками начнут прорастать семена вязов и буков: всё крепче стволы, всё нежнее листва, видишь, им уже от роду сто двадцать годовых колец, сурово смотрят вверх множеством веток и листьев, у самых корней их лежит человек, и, что бы он там ни думал за закрытыми глазами, он весь принадлежит небу и земле, сначала небу, а потом земле, и немного деревьям, которым дано прорастать и в землю и в небо.

Вольность

Я сам отложил в сторону пистолет, заверив себя, что, если прямо сейчас покончу с собой, то завтра мне будет ещё хуже, чем теперь, а я этого не вынесу и точно застрелюсь.

Самому стало смешно: ещё бы яда себе подсыпал в зелёный чай втайне от собственных глаз.

Но когда цена обозначена и в тонкой шёлковой петле висит и содрогается огромный беспросветный мир, между жизнью и небытием выбирать не приходится.

Последование

Никто не знал, чем закончится это путешествие, что именно остановит нас: разрушенная набережная, свирепое море, утаскивающее в самую беспросветную глубину зазевавшегося фотографа, которого перед тем легонько подтолкнули, глупые встречные, не имеющие понятия, какую улицу они топчут, мы сами, ходящие по кругам, разошедшимся от поваленного фонарного столба, для того лишь, чтобы однажды понять (пусть даже много времени с тех пор утечёт), что это путешествие никогда не закончится чашкой чая, усталостью и нежностью, затаившейся где-то внутри недоверчивым зверьком, потому что не закончится вовсе.

Исправление (порчи)

И не хочется рождаться, а надо, каменеет что-то внутри, просится наружу, и вместе с этой тяжестью весь выходишь на свет. И с каждым новым днём от рожденья всё непосильнее становится ноша, бремя, похожее на то, которым выносила тебя мать, и на то, с которым принял твоё появление отец.

— Сейчас станет легче, — говорят мне.

— Легче уже не будет, — смеюсь я в ответ, понимая вместе с тем, насколько глупо смеяться в такой ситуации, как и плакать — совершенно нелепо, — от всей души плачут и смеются только младенцы, не ведающие до поры до времени, что они принесли вместе с собой в этот мир.

Посещение

Они приходят, когда ты их уже не ждёшь, и никто бы не стал ждать — не до того нам. Три незваных гостя странным образом оказываются похожи на тебя — просто одно лицо: и волосы твои, и глаза, и мысли пахнут небесным простором, раскрывающимся навстречу любому жаждущему свободы. Как рано пришли, так тебе кажется, они, как всегда, спешат, а ты ещё не дослушал шёпот морских песков, шелест горных трав, ликование птиц, у которых под крылом прячется свежий струящийся воздух, перестук поездов, исчезающих в дымке этого дня, шум и гам городов, дышащих ночным потом спящих уставших видящих обыденные сны одиноких, со временем покрывающихся патиной, людей.

Мы-то как раз пришли вовремя.

Стиснутые зубы

Прямо во мне твой голос, и как он попал туда? Пропасть разных голосов во мне: голоса вещей, голоса людей, голоса странных понятий, голоса небесно-бирюзовых картин, изображающих человека и его кальян, человека и его вечность, просто человека. С тобой всё понятно, ведь твоя картина называется «Человек и женщина» — слабым не место в этой схватке, потому что в итоге возобладает такое сладкое, морочащее счастье, а с другой стороны —

такое неподдельное горе, что хочется рыдать навзрыд. Ты ушёл навсегда, никому не сказав, куда и где вдыхаешь теперь свежий воздух гор напополам с морским воздухом, тревожась лишь о том, где же запах любимой женщины, которая лишь для тебя пахла всегда горами и морем, разлитым среди неверных песков вдали от благословенных гор.

Убранство

Решись я уйти прямо сейчас, мне пришлось бы оставить здесь всё, что я нажила непосильным трудом и удачей, что насобирала в лесу, на пляже, в горах, бесценные предметы силы (камушки, жёлуди, листья, песчинки, снежинки) и то, что подобрала на улице, лежащее бесхозно, никому не нужное, поломанное и проржавевшее, вышедшее из моды, жалобно мяукающее, потерянное случайно в дневной суете, выброшенное среди ночи в бессильной злобе, снять с себя всё: одежду, ожерелье из ракушек, мило побрякивающих при каждом неверном движении, потемневшее нательное колесо Дхармы, — и, набрав в лёгкие побольше воздуха про запас, шагнуть за порог, оставив среди прочего и самое ценное, то, что получила в подарок от любимого и в дар от высших сил — в белых пелёнках исходящее криком дитя.

Разорение

Я видела это уже сто раз, тысячу раз, сто тысяч раз, затёрла эту картинку глазами до дыр, слепнущими глазами, не замечающими больше новых линий, свежих красок, какое-то бесформенное пятно света на том месте, где раньше, я помню, около берёзового дерева с тонкими чёрными ветвями, оплетающими небесную синь ласковой паутиной, стоял дом с протекающей крышей, в котором под обеденным столом мышь грызла заветренную корочку хлеба, пока на столе разрисованный под тигра кот вылизывал до блеска свой шерстяной бок. Собака во дворе выла к непогоде.

Когда пойдёт дождь в доме, забарабанит по половицам, кот спрыгнет со стола и отправится спать в единственный сухой уголок, так уютно спать, когда идёт дождь.

Возврат

Из-под земли высунулась рука, желавшая рукопожатий или хотя бы тепла, солнечного, лунного, человеческого, сама по себе тёплая, золотое колечко на мизинце, белые ноготки, левая рука, державшая жёлтый цветок с пятью острыми лепестками в пять сторон. Вслед за ней вылезла рыжая голова голубоглазым лицом к солнцу. Не жмурься, смотри на свет. Показалась шея, ненадёжно скреплявшая голову и тело, вслед за ней — правое плечо. Нет труда теперь высвободиться до груди, от пояса до коленей, до тонких лодыжек. Шагнуть на твёрдое. Полюбить ветер — под землёй нет ветра. Полюбить небо — под землёй нет неба. Заплакать — под землёй не плачут. Рассмеяться.

Питание

Можно подумать, что это я нахожусь в зависимости от любящих меня, а ведь именно они, всем своим существом, зависят от моего желания и каждой клеточкой своего тела идут к изначальной истине через моё восхитительное чуть полноватое тело, будто бы говорящее: «Ложись спать, все спящие как дети».

Пережимаю сонную артерию уставшими руками с одной только мыслью: немного передохнуть в тёплой, обволакивающей со всех сторон пустоте, не пить, не есть, только спать. А если всё-таки захочется попробовать немного кислого, от самой земли берущего своё начало, вина и съесть кусочек чёрного хлеба, я увижу, как необходимое падает прямо с неба, переполненного пустотелыми ангелами, воспевающими самое суть: вдох-выдох каждого из нас.

Переразвитие великого

Всё приходит в своё время

Белое белому рознь. Снег имеет сотню оттенков, зависит ли это от земли, на которую он падает? Молоко, сколько его ни выпей, обладает каждый раз новым вкусом. Зависит ли это от коровы, которая мычит, вглядываясь в неизвестность: почему именно мне досталась эта судьба? Уметь отличить белое от белого и не знать, как отделить землю от коровы, это тревожный знак.

Сияние

По плохо освещённой улице Антоновка (с одной стороны — ветхие домишки, в которых люди, обтянутые кожей, сживают друг друга со свету, с другой стороны — море, в котором рыбы, облепленные чешуёй, едят друг друга без соли) ровно в час пополуночи запрыгали два мячика: жёлтый с синей полоской и синий с жёлтой полоской. Резвые, весёлые, и только три мысли на двоих, заполняющие всё их внутреннее пространство, сменялись поочерёдно, как в вальсе, первая вторая третья первая вторая третья: как холодно кто же пнул нас своей божественной ногой по жизни скакать неизведанное притягивает к себе магнитом ослепительный свет.

Бегство

Утренние звуки таят в себе чувство какого-то неземного счастья. Не будь их, мы бы ни за что не признались себе, что живём. Необыкновенно однажды проснуться в мире, в котором ничего не звучит и дерево растёт неслышно, одинокая рыба под водой не обнаруживает себя и даже ворон, севший случайно на тёмную ветку, безмолвно раскрывает чёрный блестящий клюв, чтобы сказать, что он ещё в полном расцвете, и каждое пёрышко, одно к одному, скрывает птичью его суть от досужих взглядов. Бесшумно вспархивает и улетает. Вот был, и нет, разве про это расскажешь?

Восход

И когда ты всё делаешь правильно — целая огромная Вселенная счастлива за тебя и радуются тебе встречные люди, даже те из них, кто тебе всего лишь недруги по счастью, даже глупые девицы в цветастых платьях, влекущие своим запахом идти вслед за ними по лестницам, лестницам, таким, что чёрт ногу сломит.

Только ангелы по ним ступают бесшумно, медленно приближаются к воде, встают на колени, чтобы отразиться в морской воде камнями.

Поражение света

Твоё нынешнее местоположение будто тёмная, устланная сухими кленовыми, дубовыми, осиновыми листьями вязов, лип и тополей глубокая яма, в которую не заглядывает солнце, не заглядывает луна и свет самых ярких звёзд не проникает; твоё время — сплошной туман, оставляющий на волосах головы, волосах тела, ногтях, зубах, коже крошечные капельки влаги, холодный туман, пронизывающий до мяса, сухожилий, костей, костного мозга, почек, сердца, печени, плевры, селезёнки, лёгких, больших кишок, малых кишок, глотки, плотный туман, смешивающийся с экскрементами, желчью, мокротами, гноем, кровью, потом, жиром, слезами, соплями, слюной, слизью, суставной жидкостью и мочой только для того, чтобы ты, наскоро составленный из множества отвратительных на вкус и цвет деталей, мог каждый день затемно пробираться в свою тёплую уютную нору, чтобы пить и есть, заниматься любовью, отдаваться ненависти и долго-долго всматриваться в себя сквозь непроницаемый туман.

Разлад

Свет придаёт тьме необычный оттенок, зачастую пугающий своей неестественно мертвенной бледностью. Это как поутру внезапно вернуться из влекущего своей странной схожестью с текущей жизнью сна не в своё тело, может, так и происходит каждое утро? Мы из ночи в ночь меняемся телами в произвольном порядке и каждый раз снова и снова просыпаемся не в себе: то в небритом одиноком мужчине, то в перевозбуждённой ночными снами юной девчонке, то в младенце, ещё не родившемся не в то время и не в том месте не тем, кто он есть.

Препятствие

Мир так тесен, что нам с тобой не провернуться, пусть даже нас только двое осталось во всём несущемся со скоростью мысли прямо в вечность мире. Ты пришёл из времени, в котором танцуют странные танцы, лёжа на деревянном полу, бревно к бревну; я же танцую сама с собой и, поглядывая по сторонам, жду, пока зацветёт слива сливовым цветом, а вишня — вишнё-

вым, пока все фруктовые сады наберут сок, чтобы передать его через стволы к золотеющим плодам от чёрной, вязкой на вкус земли к синеющему в своей прозрачности небу, создающему острые грани действительности, просвечивающей сквозь пространство, отражённое в кубе, в котором все стороны равны трём, потом двум, а ты один. И я одна.

Убыль

Найти бы в доме хоть одну вещь, которая успокоит трепещущее сердце: гвоздь, чтобы забить его в стену, чтобы косо висела на нём картина оригинального местного художника, изображающая самую что ни на есть изнанку обыденности: печальный своей дряхлостью деревянный стол, жестяную кружку, из которой можно пить чай, можно пить кофе тем, кто не любит чай, простой карандаш, которым так хочется нарисовать на простом белом листе жёлто-синюю птицу, каждое утро слагающую гимн вечности, прибирающей всё преходящее к своим рукам, гимн, звучащий приблизительно так: «Тю-тю, тю-тю, тю-тю».

Восход

Нас ожидает любование весенней зеленью и белым цветением. И жаркий полураздетый день. Как это будет точно по-английски, не знаю, наверное: новый день, новая жизнь — feeling good. А скрипящий песок уводит прочь — только следы остаются и рук, и ног, и влажных поцелуев. Что же здесь действительно произошло, кто почувствовал себя хорошо, кого обманули? И кто желает расследовать это дело однажды мающимся солнечным днём, чтобы узнать, что случилось? Вроде бы было тело, нет, два, и, кажется, была душа, точно, одна душа оставила отпечаток на другой. Но где? Среди необыкновенных, которые редко бывают обычными, цветов, нежно-жёлтых или тепловато-розовых, между веток, посеребрённых летним инеем, итого — два, меж берегом и морем, шепчущим, когда ему хорошо, и ревущим, когда ему плохо, — три, у камня, истаивающего сладким мёдом, если его ласкает настоящее летнее солнце, — четыре, звезда, которая давно уже погасла, но продолжает светить ради всех нас, — пять.

Перечение

Переполненный злобой бессилен изменить мир. Погружаясь всё глубже и глубже в собственные переживания, он обнаруживает всё более отвратительные стороны своего же бытия, и ненавидит себя, и завидует тем, кто способен принять на веру всё происходящее, не осмысляя, не завидуя, не оценивая, во сколько встанет пришить новую голову к прежнему телу, если вдруг недруги снимут старую голову с плеч.

Воссоединение

Извлекаю слова из песни про неземную любовь, превращаю их в акварельную краску всех оттенков лилового, застилаю постель лепестками апрельской фиалки, пою колыбельную. Сны, которые непременно придут в этот дом, будут разными: два страшных и один добрый.

Падаю.

Ты идёшь по зеленеющему лесу в поисках белых, рыжих, красных грибов, устаёшь, прислоняешься спиной к стволу старой сосны, покрытой каплями липкой золотистой жидкости, влипаешь, как муха, и, дёргая всеми шестью лапками, замираешь в ожидании пробужденья.

И вот наконец сон про то, как зелёное одутловатое чудище пролезает в окно детской без особых намерений, у страха вообще нет интереса перепугать до смерти (мёртвым не снятся сны). Ему надо, чтобы мы смогли полюбить то, чего боимся, полюбить то самое пучеглазое, бородавчатое чудовище, напоминающее отчасти маму, поющую каждый раз одну и ту же колыбельную, чтобы нам крепче спалось.

Истощение

Всю ночь летит старый бражник на лунный свет, сердце предательски выстукивает: устал, устал, устал. Мимо со звоном проносятся одинокие звёзды и целые созвездия, хвостатые кометы, человеческий мусор — знай уворачивайся. Думает о жизни, не то чтоб о своей, а вообще. О жизни вообще можно долго думать, всю ночь напролёт. Скоро утро, ещё одно утро ещё одного дня: кухня, дети, жена, кофе без сахара — не увернёшься. Устал. Засыпает, вцепившись лапками в чёрный бархат обратной стороны Луны.

Смена

Перемены наступают задолго до того, как определишься, что необходимо что-то менять, перемены не к добру, не к худу, а потому что пришло время. Как змея меняет кожу, когда ей надоедает её предыдущая форма, её обыденность, так и я ложусь под нож, когда устаю от себя. С отрубленной головы валится золотая корона, катится по земле до края, с плеском падает в воду и тонет, а я плыву вверх по реке, преодолевая тёплые воды, преодолевая волны прозрачного цвета, сквозь ласковое время вверх по течению, всё время вверх.

Жертвенник

Я вышла и поехала домой. Шёл дождь, не проливной, нет, так себе, накрапывал в час по луже. Какой-то мальчик стоял с открытым ртом. Новое здание успели выстроить за последние сутки с тех пор, как я проезжала мимо в последний раз. Мальчик стоял, спрятав руки в карманы. Открытый поломанный зонт у зелёной мусорки изображал свастику, рядом собака вытянулась в стойке: так только мёртвые псы лежат. Я ехала, вернее, меня кто-то вёз,

и думала, что могла бы подложить себя, как подушку, под любимую голову, наполненную всяким вздором: пухом, паутиной, осиновыми ветками, колотым янтарём, сором из святого угла нашего жилища. На остановке стоял мальчик и, запрокинув голову в небо, ловил открытым ртом случайные капли дождя. Люди теснили друг друга, чтобы добраться домой первыми, поесть и броситься навзничь перед всевидящим оком, задрав все четыре конечности к небесам, в которые вглядывался мальчик. Мне ещё ехать и ехать, то ли четыре остановки, а может, и все пять, и на каждой будет стоять мальчик, как постовой, и ловить жадные капли закончившегося дождя бесконечным, как чёрная дыра, ртом.

Сосредоточенность

В одном углу — камин, в противоположном — пёс на войлочной подстилке, полка с книгами, аквариум с рыбами. География твоих странствий каждый раз сводила на нет эту обнадёживающую картину, но ты возвращался, чтобы разжечь камин, накормить пса, стереть пыль с какого-нибудь давно стёртого в пыль древнего любомудра, чтобы часами сидеть у прозрачной воды, разглядывая рыб, шевелящих безмолвными ртами, краснопёрых, круглолицых, без устали целующих прозрачную воду и через неё — мыслителя древности, пса-полукровку, огонь в камине, тебя.

Течение

Вот представь себе, что ты находишься в утробе: тепло и влажно и никакого выхода. Снаружи баюкает чей-то приятный малознакомый голос, рассказывает то про суп с брюквой, то про ширину-длину прозрачных занавесок, которые будут висеть на окне в твоей будущей комнате, из которой есть выход в яблоневый сад. Там, на палевом тёплом камне, сидит повечеру трёхпалая жаба, смотрит по сторонам и находит, что жизнь прекрасна, наполнена мухами, и соловьями, и спелой клубникой, вызревающей где-то рядом с древесным строением, кажется, это дом женщины, окружившей тебя уже сейчас розовым бархатом со всех сторон. Тебе ещё недоступна её нежность, истинные ощущения появляются, когда начинается отсчёт: час, месяц, год от твоего дня рождения, и когда тебе, моя радость, наконец становится чуть легче, потому что ты больше не пребываешь вне времени безо всякой веры в надежду на любовь.

Изобилие

Может пройти год, а может и сотня лет, и тот, кто способен обнаружить разницу, скажет: прошли годы, так много лет, что вереском поросла округа и от немногочисленных старожилов остались лишь впечатанные в сырую землю следы босых ног. Меж тем, в самой середине леса появилось маленькое озерцо, в котором просвечивающаяся до самых костей рыба всё время плавала по кругу, по часовой стрелке, о, если б она знала, что есть время и оно так необъясни-

мо: вроде поспеваешь ко времени, а приходишь с опозданием; вот только был час пополудни, а уже полночь; как странно, десять лет минуло с нашей встречи — будто день прошёл. Той, созданной одним взмахом кисти рыбе, конечно, всё равно, плыть ли по кругу или вдоль реки, немногословна и одинока она, ей не достичь славы и почестей тех её сородичей, которые висят в длинных залах скучных музеев, написанные дорогим маслом на темнеющих холстах; она плывёт вслед за солнцем, боясь потерять его из вида, умудряясь каждый день находить его по запаху, на вкус и цвет, бесконечно медовый.

Странствие

Претерпевая необратимые изменения, остаюсь собой. По холодному снежному туннелю ухожу, пронизывая, протаивая себе путь, словно червь. Кто решится на это? Идти в одиночестве: сам себе бронепоезд, сам себе рельсы-шпалы, железо-дерево, номер-цифра, шиповник белый — ящерица юркая, сам себе контролёр и станция, если потребуется. Без остановок, пожалуйста. Вплетаю клеверовый запах для того лишь, чтобы не зачахнуть в ослепительном совершенстве. Далее цвет: конечно, красный — пусть вскипит могучая кровь. Слышу трубный зов благородного оленя: иду на вы. Вкуса у этого нет. Ощущение опустошённого сознания, в котором пошебуршили чуждыми идеями, которые так и не прижились, завяли на самом корню. Бреду по холодному туннелю в полном одиночестве.

А в белёсой тьме растворяется тварь, уносящая мою память.

Радость

Я знаю счастье на вкус, — прошептала она, — в детстве каталась на скрипящей, на ладан дышащей качельке, раскачивалась всё сильнее и сильнее и вдруг перенеслась прямо в вечность, внезапно вся с ног до головы погрузилась в звенящий покой, испытывая одновременно острейшее ощущение внеземного счастья. Была так ошеломлена, что позволила разрезать себя, как праздничный пирог, на куски и сама поднесла их ветру, воде, солнцу, деревьям, птицам и людям. А потом задумалась: как дальше жить, если ничего от меня не осталось, кроме правой руки?

С лицом круглым и белым, как луна, с длинными волосами, свисающими, будто ветви плакучей ивы, до самой земли, с таким же длинным телом, струной натянутым от земли прямо в небо, она стояла у входа в супермаркет с протянутой рукой и раздавала милостыню. Дул холодный осенний ветер, кружил в общем танце последние сухие листья и первые снежинки — всё то, что ей дано было подать сегодня на жизнь.

Улыбка не сходила с её замерзших губ.

Раздробление

Ты одолжил мне на время свои крылья, два плотных белых крыла, чтобы мне не было скучно, пока ты перемещаешься на самолётах из одного уголка

планеты в другой в поисках счастья для всех и на все времена. Я примерила их в первый же вечер твоего отсутствия. Как они были мне к лицу, как подходили к мерцающему в темноте платью, к цвету моих волос, к ходу моих мыслей! Я даже как будто преобразилась: и платье не платье, и волосы не волосы, и мысли не мысли, и я не я. Но крылья требовали большего — надо было учиться летать. Я вздохнула, встала босыми ногами на карниз и ухнула вниз, минуя силы притяжения. Меня обступили розовотелые люди, сбежавшиеся на странный звон: то ли звяк, то ли звук, который издало моё тело, ударившись об асфальт. В свою очередь, душа, стукнувшись об тело, встретилась с мыслью о стремительном полёте вверх, к звёздам, перешёптывающимся в хрустальной пустоте о том, что крылатым это существо было всегда, вернее, никогда не было бескрылым.

Ограничение

Жизнь делает па, или реверанс, или включает реверс. Значит, пришло время ограничить себя в еде и в питье, в друзьях и в недругах, в радости и в горе. Как колпаком, накрыть себя сверху шарообразным аквариумом, наполненным водой без ряби и рыбы. Тебя колышет там, внутри прозрачного сосуда, изо дня в год, словно подводную траву, переходящую в цвете от салатового к светло-зелёному, от тёмно-зелёного к совершенно болотному, от страсти к радости, и однажды ты понимаешь, что необходимо выйти наружу, чтобы донести эту радость растущей неподалеку, в соседнем березняке, травинке.

Внутренняя правда

В самой середине разговора моя престарая подруга Лика запнулась, будто о слово камень, и как-то странно рассмеялась, казалось, своим мыслям, но я поняла, что она хочет, но не умеет мне сказать: «Знала бы я, к чему прислушиваться, — поймала бы самую главную внутреннюю волну: будто что-то стрекочет и мелодично побрякивает, причём в левом ухе стрекочет, а в правом побрякивает. Знала б, к чему принюхиваться, — почувствовала бы запах младенческой свежести и старческого тлена, входи в одну ноздрю младенческая свежесть, а в другую — разложение и тлен. Знала бы, на что смотреть, — увидела бы яблоко: карим глазом, какое оно круглое, голубым, какое оно красное с червоточинкой. Обняла бы первого встречного — с одной стороны, как лучшего друга, с другой — как злейшего врага. Родила бы ему в муках дитя, а оно, ни девочка ни мальчик, вырвалось из цепких рук видавшей всякие виды акушерки второй смены и укатило в предрассветную даль ближнего Тибета зимним солнцем — следуй за мной, следуй за мной».

Переразвитие малого

Так бывает — сам ещё не знаешь, про что будет история, как вдруг краем глаза замечаешь: молоко переливается через край, образуя аккуратную лужицу на полу, вполне географическую по форме, по сути же — форменный бес-

порядок. Обходишь её посолонь, забирая всё время вправо. Промочив носок, в праведном гневе требуешь немедленно кота. В ожидании кота добавляешь к молоку немного свежезаваренного зелёного чая (как это делают в островном государстве, отчасти напоминающем своими береговыми линиями эту лужу). Сменив гнев на милость, просишь подать кота хотя бы к файф-о-клок. Так и не дождавшись кота, кладёшь в самый центр ложку мёда, соль на кончике ножа (совсем чуть-чуть, для вкуса) и кусочек сливочного масла. С интересом наблюдаешь, как всё само собой перемешивается, растворяется и тает. Тебя окружают прочие больные, все как один в ядовито-жёлтых пижамах, то здесь, то там мелькают синие халаты медперсонала, рыжий кот протискивается между ног. Всем не терпится рассмотреть получше.

От этого зрелища душевные раны затягиваются на глазах даже у самых безнадёжных.

Ещё не конец

Смерть означает лишь то, что взамен последует много жизни. Родятся дети, помнящие истину, затем внуки, идущие правильным путем, следом появятся на свет совершенно слепые щенки и котята для забавы весёлых толсторуких правнуков, собирающих в прозрачную банку мух, небесных коровок, пронзительную саранчу, иссиня-салатовых жуков, которых наверняка не найти ни в одном определителе насекомых, и напоследок придёт тот, кто научит нас радоваться жизни от всего сердца, головы и живота, как это умеют делать лишь дети.

Анастасия Кирсанова

Родилась в 1983 в г. Калининграде. Участник групп «Сквозняки» и «Эффект Доп(п)-лера», фестиваля «СЛОWWWO» и II Московского фестиваля университетской поэзии. Публикации: сборники «Молодые голоса: Выигрыши» (2007), «День открытых окон 3» (Москва, 2009), альманах «Боруссия» (Польша), журнал «Параллели», портал «Мегалит».

Станиславу Грофу

просто доктор сказал, что этот гнойник пора вскрыть,
надрезав сначала мякоть сознания
он напоминал, что надо дышать
дышать
как можно чаще и глубже
чаще
и
глубже —

чтобы протиснуться сквозь лёгкие, сквозь
все эти органы, сведённые в судороге,
он повторял:
«дышать сильно и часто,
сильно и часто»

вот так
лёжа на полу
в кабинете квалифицированного психотерапевта
(всё в порядке, не волнуйтесь, здесь
нечему удивляться)
а может
на палубе корабля, плывущего среди засохших воспоминаний

учишься умирать,
разрывая лёгкие толчками дыхания
взахлёб
вяжущей тошноты озноба,
в плёнке холодного пота
ждёшь

(«психологический материал надо отреагировать» —
так говорит доктор, и я его слушаю)

ожидание равно…
равно…
ожидание равно
(не могу решить,
никогда не могла)

уровень боли равен возможности её терпеть

и вот тогда
лобную кость разрывает
свет — грязно-жёлтый,
вязкий, в котором
нет наконец меня

и пустоту можно взять за ворот,
поиграть с ней, как с больным котёнком,
выкинуть, повесить на гвоздь,
завернуть в кулёк,
спросить «который час?»,
сжечь,
схоронить в гробике для младенцев.
вот, к черту, всё, это слишком, доктор, доктор,
доктор!

«продолжаем дышать:
вдох — выдох
вдох — выдох.
Всё, ребята,
сегодня вы молодцы.

Теперь пусть каждый расскажет о том что было».

***

Сращёнными близнецами называют
однояйцевых близнецов, которые нормально
не разделились на определённом этапе развития
на два раздельных организма.

Шершавостью набухших грудных желёз
Праматерь берет своё.

Сколько раз счищала её чешую,
отрезала волосы — чтобы сбыть родство.
Но она течёт и течёт во мне, множа своё естество,
оплодотворяя женское женским — без семени, даже
без стыда разогревшихся тел. Просто кладёт
руки на мой живот —
на этот райский пуп, откуда растёт
аллея небесных древес

и я зачинаю
мужчин и женщин:
целый лес
вьющихся тел

сворачивающихся друг в друга

в маленькие однояйцевые зародыши
с общей грудной клеткой
удвоенным сердцем

под одним колпаком души

и им не тесно
совсем не тесно

они растут

Джорджио де Кирико

Место действия: *«Станция Монпарнас»*
«Ностальгия по бесконечности»
«Метафизический интерьер»
«Меланхолия и тайна улицы»
«Наслаждение поэзии»

нулевой градус констатирует немоту аквариумного «я»
под сурдинку выгибает в сюрреалистических инверсиях
и на пустынных площадях де Кирико
и даже в его метафизических интерьерах

легче
чем в грубой материи — воплощённость на все сто
рук ног лбов
всего
что мешает увидеть изнанку архитектуры

Это ли не желанный ключ к Станциям Монпарнаса? Джорджио
Джорджио
встретиться бы в меланхолиях твоих красных улиц
покатать колесо поэзии по холстам
в перспективу словом сутулясь

однако же и в тебе
множась поверхностями лаковых субституций
только и делаю что
ловлю
упругие разноцветные шарики
в плоское белое блюдце

псевдоархитектоники
реальности

***

и наконец город переломился и захлопнулся, как твоя книга из «Букиниста»,
как очередной номер научного журнала, в котором ищешь себя, находишь — втиснут
среди других соответствий, и думаешь — прошла ли верблюдицей через игольное ушко?

и буквы рассыпались листопадом и зашептали на древнепрусском:
последний старик проснулся,
а может, перевернулся в тягучем сне языка, свернувшегося в зародыш,
транскрибируя пустоту

и в туристическом, многоголосом поплыли к собору, шаркая замландскими ступнями

(называла тебя Кентаврёнком, себя — Кариатидой
смеялись особенно звонко, играя любовную панихиду)

в соборе пространство распалось, стало каким-то зернистым и абсолютно белым
Иисус светился на витражах. Знаешь, мне кажется, схемы иллюзионов чертят мелом

чтобы между нами лежала сумка, начинённая филологией
чтобы через неё не дотянуться
чтобы звуки ловить, как бабочек в энтомологическом порыве,
как будто
это залог формы или
способность вместить чувство
без болевого синдрома,
без анальгетика,
без вторичного и сверхъестественного,
морали и уж тем более
мимикрии. Знаешь

втиснуться в звуки легче, в эти органные нити, чем
пройдя верблюдицей через твоё тело
завязнуть узелком
...единственное, что действительно хотела

прикоснуться

и снова мир принимает
прощая мелкое любопытство чувств
укрывает в лодке огромных ладоней
и я плыву

то ли на запад солнца
то ли опять по кругу

свет невечерний
в кармане

перелицованного пальто
мужская фигура:
худощав
спокоен

и нельзя обнять
прикоснуться

потому что лишён отражений
может песком
волной
может птицей
звуком разбитых слов
тишиной
может
быть мной

а я не могу

прикоснуться

так бывает
во сне
когда вдруг слепнешь
в попытке поднять веки
хочешь кричать «помогите»
но голос тоже
потерян

в таком вот словесном удушье
тесен
самому себе
во множестве отражений остаёшься пуст
кадрируешь пустоту

и снова мир принимает
прощая мелкое любопытство чувств
укрывает в лодке огромных ладоней
и я плыву

то ли на запад солнца
то ли опять по кругу

зная
что не выпрыгнуть из отражений
что никогда
не смогу

прикоснуться

Девчонке

Тысячи псов грызут грудную клетку девчонке
(подросток, белее молока тело)
захлёбываются в крови
ей теперь всё равно — слишком громко поют ангелы
по крайней мере ей так кажется
хотя это и рваный лай собак
взгромоздившихся на её душу
что она там видит
в бегущих кадрах маленькой жизни
непрожитой ещё
(перешагнула как через лужицу в сандаликах на босу ногу)
такая дура что ж ты лежишь
распластавшись на земле — голой холодной
тебе всё равно мне холодно
смотреть на тебя
твоё маленькое кукольное тело
знобит знобит от уколов
всасывающихся в твои вены
похлопываний по щекам
мелков разбросанных по асфальту
кусков хлеба — откуда взялся — разбросали любовь что ли
за руку держать бесполезно бесполезно наверно
спой песенку — вчера ещё обещала —
про холмистую страну с зелёными горбами
про мотыльков с сахарными лапками
про ирландских кошек
про то что Бог с нами
спой
чудесница девочка
с открытыми глазами

Карлица

Когда я перестаю улыбаться,
забываю о радостях и печалях,
сотрясающих мою душу —
этот бездонный сундук
с интеллектуальным тряпьём;
когда я справляю похороны
всех своих социальных прозвищ
и кричу, кричу «да пошли вы все на»,
во внутренней мгле,
в захламлённом дурном космосе,
пробуждается этот звук —
Ты звучишь во мне, Господи,

Твои колокольчики
рассыпают небесный звон,
уши мои врастают в твою молитву —
пригоршнями ловлю слова.
Радуйся во мне, Господи,
радуйся,
потому что я так мала,
потому что самой мне
не дотянуться,
потому что душа моя, дикая карлица,
по-звериному пятится от Тебя,
золотой пыльцой Твоего присутствия
в нежной шерсти тихонько звеня.

О смерти, или о жизни, или всё равно

I

...потому что всего лишь шаг
отделяет от нет, не больше.

Пустота слизывает радужку глаз —
тонкую, подвижную диафрагму;
в зрачок заныривает пространство
огромной чешуйчатой рыбой
с хроносом вдоль хребта;
радиальная мышца,
переход на кольцевую
в центре хтонического сечения
какого-то в светлых тонах зала,
из которого каждый и в который,
быть может, но вряд ли,
потому что ведь Он давно сказал —
тесны врата, узок путь.
Что же тогда? Что же?
Да, в общем-то, ведь всё просто:
измерять жизнь таблеточными полями —
пустышками, лунными кратерами,
этими белыми зёрнами жизни,
чтобы дотянуть до следующего утра;
потом брать под мышку
трухлявую астрономию,
больше похожую на медицинскую карту,

изображать лёгкое безумие (хотя всё и так понятно),
прогуливаться с вялым бульдожкой Сэмом,
ужинать, ложиться в кровать —
непременно по расписанию.
Вот так в свои восемьдесят
она покинула кафедру,
оставила в ящиках папки,
газетные вырезки, ксероксы,
вместе с ними и запах пудры,
которой пользовалась;
«спешить некуда, абсолютно некуда,
потому что всего лишь шаг отделяет от нет, не больше»…
Дынной долькой, преломившись, падает
в кисельные реки, молочные берега
старческая бесцветность, покидая
этот красочный мир навсегда.

II

Христос воскресе из мёртвых,
смертию смерть поправ.

когда берёшь в руки чужое прошлое —
уже не щенком, взъерошенным и кудлатым,
но эмбрионом, в прозрачной банке скукоженным;
но образом и подобием, заспиртованным
в четырёх реках, по которым ещё плыть и плыть —

в подушечках пальцев время,
слегка покалывая, хронометрирует пустоту —

словно бы кто-то большой и добрый
надрезает не как положено
(безымянный четвёртый),
но все пять
и ещё пять:
и Рождество оборачивается Пасхою,
преломляется хлеб и течёт вино;
и Христос возглашает: «Радуйся!».

«…и сущим во гробех живот даровав».

III

Старик Нимфа-Нелюмбо, или Смерти нет,
когда идёт дождь из розовых лотосов.

Он сидел долго и неподвижно, разрывая собой пространство, —
ушедший в нирвану балконный божок серой многоэтажки;
(морщины режут лицо, цветёт седина)

внизу продолжалось время — пахучее перекати-поле,
курлыкали вечные дети
о разноцветном грядущем,
о воле Пославшего их, о прочем, поскольку
пока мы здесь и ведём разговоры
о ранней зиме, белом пушистом снеге, который
завтра, конечно, растает;
о насморке и дурной погоде,
Там
распускает свои лепестки
гигантский розовый лотос —

«нимфа нелюмбо, нимфа нелюмбо», —
отчаянно повторяет старик.

Надежда Исаева

Родилась в 1974 в г. Калининграде. Лауреат областного литературного конкурса «Россия молодая» (1993). Член Союза российских писателей. Книга стихов «Города, цветы и птицы» (1997). Публикации: альманах «Насекомое» и др.

***

Стих подкатил, как тошнота, к рассвету,
но затаись, не открывая глаз,
поскольку неизвестно, в схватке этой
кто победит.
Быть может, в этот раз
живую ночь во влажных переливах
не хватит сил стреножить букварю:
надежды о взаимности счастливой
наивны, ничего не говорю,
когда ты — безымянен, и острижен,
и в госпитальный выряжен халат.
Поэтому — пусть проплывает мимо
и кожаные крылья шелестят…
Ночные строфы — клад недолговечный
и ненадёжный — бусы изо льда,
обломки сочленений и колечек.
Слеза без соли. Сгинет — без следа.

***

Я каждый день не умираю,
ведь это счастье — умирать —
стоять у пропасти, у края,
надеяться и уповать.
Я не ношу в себе спасенье.
Взяв осторожно, как свечу,
с ним не иду под воскресенье
в единственную ночь в году.
Ношу словарь мертворождённый,
на всякий скроенный каприз,
и день, навеки заключённый
в простой железный механизм,
где просто всё, почти убого,
так точно, плотно всё сошлось,
что там для совести, для Бога,
для чёрта — места не нашлось.

***

Бывали времена — печали,
Как в кислоте, растворены
В безбрежной нежно-синей дали,
В уверенных шагах весны.
В позёмке пыльной поворота
На тот большак, где, тишь презрев,
Семья пернатых делит что-то

Под клейким куполом дерев.
Где гладь озёр пропахла дымом
И весел караван гусей,
На север следующих мимо.
А блеск листвы — невыносимо
Пахуч и ярок для очей.
Из необъятного простора,
Из тех, невидимых, небес
Надеждой весть приходит скоро
И согревает светлый лес.

Бессонница

Всё, от чего мы отмахнулись
в нелепой гордости своей,
споткнулись, и не обернулись,
и зашагали по земле,
сквозь муть стекла желтело тускло
усталой лампой заводской
на станции какой-то русской,
полузабытой, запасной.
Вдруг вспомнилось. И вот синицей
про непонятное поёт.
С клюкой выходит из больницы.
Забыться ночью не даёт.
То неизбежностью морочит,
то неизвестностью томит,
то закружит и напророчит,
то сердцу что-то говорит.
А сердце бедное не дышит —
такая жуть ночной порой!
Всё холоднее кровь, всё тише
шумит в висках морской прибой.

На восток по А-229 и А-116

За городом ближе до Бога.
Там скользкая в поле дорога,
В подпалинах ржавых снега.
Царит тишина неземная,
И радио в страхе смолкает,
Не зная её языка.
Берёзы и чахлые ели…
Ошмётки вчерашней метели

Со встречных швыряет в стекло.
Холодное солнце не скоро
Штурмует воздушные горы —
Всё небо заволокло.
Исход этой битвы неясен,
И путь не вполне безопасен —
Его до границы держать.
И не на кого опереться.
Внезапно поверило сердце
В трёх ангелов, что, над дорогой
Склоняясь, согласно молчат.

Август в Зеленоградске

Синицы принесли сентябрь на крыльях,
Просыпали на землю колокольцы.
Ещё с утра на рынке изобилье,
И у соседей комната сдаётся.
Но всё же не спасают положенья
Купальщики, толпа, неразбериха
И музыка, что бьёт на пораженье.
...Молчат деревья.
В небе стало тихо.
Гляжу с балкона на зелёный город
И на листву не в силах наглядеться.
Как яд, ползёт по венам первый холод,
Вот-вот достигнет сердца.

Мария

М. Марковой

А имя такое, что тёмною ночью
Роняет на землю невидимый свет.
В нём наше сиротство, зарытое в почву,
И дымная поросль грядущих побед.
В нём — белые стены, а в стенах — бойницы,
Как гнёзда стрижей. Чтобы их рассмотреть,
Мы шапки роняем, ложится на лица
Малиновый да известковый рассвет.
В нём — коржик медовый и слёзы предметов,
Пустынных песков золотое пшено...
Подробней, увы, не расскажешь об этом,

Немногим, тем более, это дано.
Дышите, Мария!
Мария, пишите!
Мы неблагодарны, но нет в том греха.
Мы чтим не восторгом оваций базарных,
Минутой молчанья — рожденье стиха.

Нежность

И. Попову

Нежность приходит всегда с опозданием,
Не поспевая за первым свиданием.
Да и потом всё тушуется, копится
и обнаружить себя не торопится.
Грохот оркестра её заглушает,
И на веселье не приглашают.
Треск мотоцикла и знойное лето
Вписаны в рамку небесного цвета,
Где горизонты пропахли бензином
И остановки — лишь у магазинов.
Кадры листают короткие планы,
Автомобили, аэропланы.
Ветра и скорости хитрые боги
В круг замыкают прямые дороги.
Драма — к развязке, всё отгорело,
Всё отскрипело и отболело.
Вот и со сцены несут реквизит…
Кто же нанёс мне столь поздний визит?
Сел на единственный стул у окна?
Мошка какая-то. Это ж она!
То ли в окошко её отпустить?
То ли меж пальцев её раздавить?

Симон

Мне как-то проще, управляя лодкой,
Курить табак, молчать под шёпот волн.
После обеда — продавать селёдку
И что ещё там в сети попадёт.
Есть, что попало, починяя днище,
Когда на дно уходят косяки.
А если шторм, и ветер злобно свищет —
Смотреть в окно и таять от тоски.
Толпа на берегу, и речь блестяща.
Я пассажира на борт не возьму.

Но если вдруг
Он всё же не обманщик
И если я понадоблюсь Ему,
Он всё равно меня везде отыщет.
Не помешают даже сотни миль,
Он всё равно меня без слов услышит
И бурю прекратит, настроив штиль.
Своих сокровищ от меня не спрячет
И по воде, как посуху, пройдёт.
Я тоже попытаюсь. Неудачно.
Немного жаль, что не наоборот.

Д. Пиганову на смерть игумена Маркела

Из тяжкого плена сухого, как корка молчанья,
мы перерастаем в молчанье иного порядка —
смертями далёких и близких. Ценой окончанья
того, что не предполагало сгореть без остатка.
И в этом внезапно откуда-то льющемся свете,
который на многие вещи ложится отныне,
нас не удивляет, что нас окружают шедевры,
как не удивляют детали в хорошей картине.
Шедевры: песок, тротуар, расписанье трамваев,
забытая рукопись, кресло мечты антикварной,
на даче забытое, там же — собака хромая…
И даже — возможность дышать или быть благодарным.
Шедевры молчат.
И безмолвная эта беседа
Язык холодит, как нетающий лёд валидола.
И это нам станет дешевле, чем сопли соседа, —
Слова утешений, таящие зёрна раскола.

Себе на именины

Что творила земля — как она каблукам поддавалась,
Как щербатая плитка с носком сапога целовалась!
Осторожные листья к лицу прикоснуться хотели,
Отрывались от веток и молча на землю летели.
Вот ладонь у лица, словно розовый лист, и, ликуя,
Удивлялись глаза:
— Неужели и я существую?
О, свиданий подобных немое и властное чудо!
Позабыл человек, что куда-то он шёл и откуда.
Если вас окликают, на зов торопиться не надо,

Вас уже обокрали не раз и жестоко когда-то.
Отойдите, постойте за деревом где-то в сторонке.
Потому что душа, словно кровь, утекает в воронку
Между явью и небылью. В след смертоносный снаряда.
А сорочка — одна. И не будет другого наряда.

***

Скрываю радость, как пацан в походе
в ночной Калининград скрывает нож, —
боюсь, что заподозрят в несвободе
или — напротив. Их не разберёшь.
Душистый май сведёт с ума любого,
проспект неспешно в океан течёт.
Я — снова победитель, если снова
меня патруль не спросит ни о чём.
Я так же зябко кутаюсь в невзгоды
и маскирую шрамами лицо.
Болезней ржа и с ней — страстей находы
тесней смыкают плотное кольцо.
Вот и учусь скупые силы тратить,
и голодать, и падать, и стареть,
чтобы до срока ангельского платья
никто не смог в лохмотьях рассмотреть.
Мне ничего не надо, даже неба
с его завесой нежно-голубой,
но я опять прошу о корке хлеба.
Чтоб повод был заговорить.
С Тобой.

***

На свете смерти нет. Есть сад и магазин.
Неровности углов, кривые ржавых веток.
Зима ввела войска. Остался день один
Для бегства от зимы. Но разве дело в этом?

На свете смерти нет. Она уже пришла.
На стол — еду. К окну — не зажигая света.
Ещё не собралась семья вокруг стола.
Жужжанье бритвы. Снег.
Но разве дело в этом?

Сергей Михайлов

Родился в 1970 в Молдавии. Член Союза российских писателей. Стипендиат Российского союза профессиональных литераторов (2003) и Министерства культуры РФ (2004, 2005). Редактор и составитель сборников «Солнечное сплетение» и «Дети бездомных ночей» (оба — совм. с И. Беловым), «Молодые голоса: Выигрыши». Книга прозы «Возлюбленные» (1997), книга стихов «Новые песни западных славян» (2004). Публикации: сборники «Нестоличная литература» (Москва, 2001), «Арт-Гид. Кёнигсберг/ Калининград сегодня» (2005), «Антология калининградской поэзии» (2005), «Антология калининградского рассказа» (2006), «Солнечное сплетение» (2005), «Дети бездомных ночей» (2006), журналы и альманахи «Запад России», «Насекомое», «Вавилон», «Воздух», «TextOnly» и др. Стихи переведены на литовский, польский, финский, немецкий и шведский языки.

***

Человек садится в постели ночью.
Он не знает себя, он внезапно болен.
К нему обращаются сверху снизу:
— Теперь не молчи, скажи, что знаешь.

Темно в его голове, и снаружи
Темно, как с ребёнком бывает в детстве.
Он боится выдать себя молчаньем —
Говорит, что знает. И засыпает.

***

Умирало лето, тихо тлело,
Сентябрём окончиться хотело.

Золотым дождём ещё струилось.
Откупалось, что ли? Не скупилось,

Неумело с жизнью расставалось,
Ничего ему не оставалось —

Дня, ни полдня. Только понимало
Лето, что такому лету лета — мало.

Ах, ему хотя б ещё полстолька!
Столько сил оно таило, света столько

Не излило — и томилось этим даром,
Точно подозрением, что даром

Было здесь и быть не уставало,
Так любило жить, что жизнь давало,

И теплом и негой угодило,
А теперь вот угасало, уходило

В мрак и холод, сбрасывая зелень
Как улику нежности на землю.

...И Земля, уже полунагая,
На бок повернулась, как Даная,
После жаркой встречи засыпая.

***

если бы у сердца были руки
оно бы тебя удержало
оно бы тебя приручило

но сердце моё безруко
сердце моё дыряво
оно тебя впустило
и вытолкнуло
с кровью

***

Сбор грудной № 2:
листья мать-и-мачехи,
корни солодки,
листья подорожника большого.
Показания. Противопоказания. Побочные эффекты.

Сбор сердечный № 1:
седина матери,
улыбка дочери,
благодатный живот любимой.
Неприкаянность. Гиперчувствительность. Душевный непокой.

но где не я

мне кажется что ничего не происходит
но рядом что-то происходит постоянно
и дальше там где я не вижу
там тоже что-то с кем-то происходит
и что-то страшное непоправимое становится

я же знать о том ничего не знаю
и стараюсь об этом не думать
потому что помочь всё равно не в силах
потому что все мы под богом ходим
и вот здесь я с миром но где не я

там родные
там всё
каждый миг
может быть
не быть

***

султаны тёмные скелет огня
деревья по обочинам дорог
ветвей другого рода
никак — а март уже — не загорались
не разжимали детских кулачков с весной

и тогда он сделал новый забег
на шаг отступил — искусный атлет —
задумав прыгнуть дальше
поднял из-под земли сошедший снег
ознобил разгорячённый мускул

и в этом спокойном шаге
безупречно продуманном чуде
земное стыдливо себя узнало
и в озябшие пальцы деревьев
мы любовь свою положили

***

В ней жизнь остановилась.

Жизнь прошла — она не родила.
Не то что, знаете, не хотела или избавлялась.
Или не здорова. Нет, здорова, но…
Поначалу как-то не сложилось. А потом уже было сложно.

И эта сохранённая в себе, никому не данная жизнь
росла в ней потихоньку всё это время, набухала, тяжелела
и опускалась из-под самого горла в низ живота,
как будто проглоченный эмбрион.

В ленивом её, стареющем теле она взаперти
не заглохла, она искала, в какую бы форму отлиться,
чтобы как-нибудь безболезненно выйти.
И выбрала форму боли.

В последнее самое время
жизнь изнутри рвёт её на куски. Она страдает.
Но — тихо и трепетно, словно только теперь
стала женщиной, матерью, акушеркой

боли, падчерицы, сироты.

***

<в тот самый миг>

когда его губы спалила
морозная вспышка спрайта
расправив сухое горло
и вскинув нарвалий мозг

мягким эхом раздался колокол
на покровской церкви
в тусклые хоры которой
грянуло солнце

он болезненно смежил веки
и распознав совершенство
муки последних дней
стал бесконечно счастлив

Пальцы

Энергия в руке такая —

и не хрустальный колпачок а жизнь
в этих пальцах удержана столь властно что кажется отринута
блистаньем кожи выпуклостью вен разбегом складок
самостоятельностью мига
упорным взглядом

— как в напряжённой мысли.

после этого

и знакомы-то они были как говорится шапочно
и пересеклись однажды только в компании
и сказали друг другу два слова не больше

однако же после этого стало

к нему
стоит о ней подумать
возвращается ясный тихий вечер из раннего детства

а у неё
чуть увидит его или услышит
обязательно где-нибудь или синяк или ссадина

Водоворот

Что с ней случилось,
он понял на завтраке —
когда из-под очищенной скорлупы
появился вспученный желток в ошмётках плевы.
Подавив отвращение,
он медленно съел яйцо, допил чай,
встал из-за стола и провёл этот день в созерцании
(всё вершилось само собой),
несколько раз возвращаясь за стол —
вновь раскрошить скорлупу
до мельчайших фрагментов,
до мутной плевы,
потворствуя сладости быть вне потока
собственной жизни, следить за её
водоворотами, явственно слыша,
как открывают шлюз…
Он ни во что не вмешался, не предпринял
ни малейшего противодействия, не проявил
сочувствия или признаков скорби, но флиртуя
с новенькой санитаркой, расплывался в улыбке
плёнкой по непрозрачным водам,
тоньше и тоньше…
В конце концов,
день своей гибели каждый вправе
провести, как ему вздумается.

После ссоры

М. К.

Когда она уезжала
я видел её далеко
в поезде у окна уснувшей
так безмятежно что
деревья и облака и птицы
слетались ей на лицо

Море волнуется — три

Тёплый воздух на побережье пришёл с ночным ветром
Вода поднялась
Резче стала линия горизонта

Приезжий в мёртвый сезон
ляпнув некстати «Домой… мой ад…»
обмирает как поражённый громом

Мелко хлопает брючина
Из пучины встаёт многорукая гидра судьба
и нежно душит его в объятьях

Катаклизм

Три дня крутило и ломало,
упругий воздух лупил наотмашь,
дома содрогались в холодных ливнях.
На четвёртый стихло.

Но люди…
Посмотрите, что с людьми!
Они просят прощения
друг у друга.

Отсрочка

Сегодня из-за дождя
грязь месить на кладбище мы не поехали.
Те двое, решили мы, нас ещё подождут.
А мы дождёмся погоды.

За весь день из дома так никто и не вышел.
Один занимался любимой внучкой.
Другой всё спал.
Третий смотрел в окно и слушал воду,
разлучавшую их неумолчно,
как с теми двумя — земля.

Пора

Андрею Тозику

Всему своё время. Приходит пора
и под ноги сыплются смерти
как спелые груши

Не остановишь ветви
которые раскачал не ты

Но — тишина

Руки поджав
юный натуралист
стоит по колено в тайне
в чужом саду

***

серебром высочайшей пробы
звенели слова у меня в руках
говорили о жизни такие вещи
что горело сердце и щипало веки

я посмотрел за окно
а там

золото и туман и дождь

жизнь во все стороны

шире самой широкой реки
в тверди своих берегов
моя жизнь

многое на её пути
для меня невообразимое
вобрала она легко

в себя
в меня

и осталась в своих берегах
продолжая течь
во все стороны

живая вода

зачем-то ему понадобилась работа
и вот он едет ни свет ни заря
в малознакомое ООО
кто-то позвал должно быть

ему посчастливилось несмотря на давку
даже сесть у окна что он не сразу заметил
точно стал немного бесплотней чем прежде
так что почти утратил и чувство комфорта

за окном проплыли
несколько мест о сыне
но он их не увидел
потому что рано ещё и темно

темнота густая
отметил он про себя
заливает всё вокруг без просвета
автобус мог бы заехать в мутную реку
или опуститься в океанскую глубину

где живут как-то иначе
не требуя кислорода
не нуждаясь в прощении
в кромешной мгле

он выдохнул и стекло запотело
перед глазами стоял его мальчик
как бы выхвачен из темноты
и напуган возможным признанием

почему любовь

почему любовь
не надо любви
это может быть всё
что угодно кроме

ну например тревога
восторг
или спокойствие

над пропастью между людьми
постоянно что-то порхает

Капля

Первыми что с ним не так
заметили мама с дочкой,
сидевшие напротив два перегона,
пока он не вышел на кольцевой.

Точнее — дочь,
которая только позднее,
уже во всеобщем нарастающем хаосе
кричала матери:

— Дырка, я тебе говорю,
дырища на пол-лица!
Да ты же сама, сама всё видела —
уставилась прямо на него
и неприлично пялилась всю дорогу.
А он сидит, и хоть бы что.
Ну хотя бы теперь признайся, мама!

Но мать в истерике всё отрицала,
лупила дочь по щекам, называла идиоткой
и повторяла:

— Спаси меня, дочка!
Спаси меня, доченька!
Ведь ты ж такая ещё молодая —
ты чистая. Спаси меня!

Но уже каждый спасал себя сам —
свидетельствовал, защищал, судил.
И спасшихся оказалось немного.
Совсем почти ничего — в вагоне метро,
если, скажем, их рассадить,
то ещё бы остались места.

(Справедливости ради заметим,
что той безвестной, которой досталась
последняя капля зла в этом мире —
его неосторожная капля,
разъевшая вскоре лицо ему самому,
а затем и всё вокруг остальное, —
так вот, её среди них тоже не было.)

Что нужно

Учись у гастарбайтеров
беженцев эмигрантов —
лимитчиков тесных оазисов
благополучия

Они знают
что человеку нужно:

крыша над головой
дешёвые макароны мелким оптом
барахло рабочее и на выход
если дело пойдёт хорошо —
в складчину
ламповый телевизор
по которому в новостях из горячих точек
можно увидеть
дом

Разговор в парке

Саше Артамоновой

За разговором стемнело
Сперва налилась и уплотнилась зелень листвы —
словно чтобы сдержать пылающий натиск неба
со всех сторон
Затем — быстрый и кровопролитный бой
с виду ангельских облаков
по-над линией горизонта
Наконец — мёртвая и безраздельная чернота кругом
Только два никому теперь не понятных голоса
и окраинные светила двух сигарет
гаснущие вразнобой —
вот и всё что осталось человеку
от человека

***

подлесок тянется к верху
да знает меру
лес вымахал
стелет боярскими рукавами
а бурелом? —
есть же и бурелом —
пылкий мемориал
лёгкий сарданапал
где чей шесток? —
падаль труха подзол
и нет никаких сверчков

Наталья Горбачёва

Родилась в 1959 в г. Херсоне. Писатель, журналист. Член Союза российских писателей. Первый лауреат журналистской премии «Янтарная свеча», лауреат премии «Вдохновение» (1999) и премии издательского дома «Провинция». Книги стихов «Место встреч» (1991) и «В обнимку с декабрём» (1998), сборник рассказов «Сердце моё на закате» (2010). Публикации: сборники «Лики родной земли» (1999), «Солнечное сплетение» (2005), «Антология калининградской поэзии» (2005), «Антология калининградского рассказа» (2006), журналы «Запад России», «Параллели», «Домашний очаг», газеты «Калининградская правда», «Якутская правда» и др.

Баярд, друг человеков

Хозяйка любила при гостях повспоминать:

— Вы не поверите! Мы когда Баярдушку взяли, он с ладошку был! Только его на пол — сейчас описается и запищит. По-птичьи чирикал, как птенчик! Есть не умел, представляете? Умора такая!

Баярд оскорблялся и тосковал, смотрел в сторону. Хозяйка, конечно, хорошая собака, но... как бы сказать помягче? Женщина, в общем, жеманство, аллегории всякие дурацкие. Боевой ротвейлер Баярд, четырёх неполных лет, по-птичьи, видишь ли, чирикал! У кого бы спросить, что у этих странных существ, красящих морду, вместо мозгов? Когда это он, Баярд, есть не умел? А писался? Это ж придумать надо... Странная вообще порода — люди. Хотя...

Другое дело — хозяин, Наиль. Настоящий пёс, серьёзный, верный, сильный. Как они тогда вдвоём в скверике с теми дрались! Выходят те из-за афишной тумбы. Баярд сразу понял: койоты. Разве настоящий пёс будет стаей нападать? А эти видят, Баярд в намордник:

— Чёрный, дай закурить!

А хозяин спрашивает:

— Может, тебе сразу в морду дать?

И — налетели. Но — зря. Хозяин одному бац верхней лапой, другому — нижней. А третьему Баярд — на грудь, и давай его намордником в нюхалку бить. Кровь! Вопли! И — капитуляция. Безоговорочная. Дали, в общем, прикурить.

— Молодец, Баярд! — Наиль погладил даже. Баярд гордый такой был, но виду из солидности (что он, щен, что ли, какой?) не показывал. Хвост-обрубок только вот опять (в какой уже раз!) подвёл: затрепетал прямо весь, даже спина волной пошла. Хвост этот — самое слабое место, вообще, вечно имидж разрушает.

В общем, хозяин — это да. А вот маленький Равиль, если честно, совершенно бесполезный кутёнок. Но, вот ведь какое дело, сказали бы Баярду:

— Давай всю жизнь будешь в намордник, лишь бы Равильке хорошо было, — не пикнул бы Баярд, сразу согласился.

Равильку этого хозяйка принесла. И так хозяин радовался, чудеса прямо. А чему там, казалось бы, радоваться? Лежит что-то, не пойми-разбери, всё шевелится и противно громко скулит. Он, Баярд, тогда годовалый, подошёл, понюхал. И — пропал, сам ничего не понял. Умный, бесстрашный, серьёзный пёс Баярд потерял свою лобастую башку, вляпался, словно какой щенок: пахло нежно, прело, как сеном, молочно, беззащитно. Аж защемило где-то внутри.

— Это Равилька, Баярд, — хозяйка объяснила, — это наш мальчик, ты его защищай.

— Придётся, — Баярд молча кивнул и подумал: — Какой он у нас никудышный, несамостоятельный совсем. Ясное дело — куда он без меня?

А Равилька как начал расти! Удивлялся прямо Баярд: каждый день — другой становится кутёнок! Скоро спасу от него не стало. Подойдёт Баярд посмотреть, всё ли ладно, а его — хвать за нос, за брылю, за ухо. Не очень-то приятно, между прочим! А дальше — вообще чудеса: ползал-ползал Равилька да и встал на задние лапки. Качается, но стоит!

Хозяйка даже всплакнула. Хозяин сел на пол:

— Иди ко мне, сынок!

А тот (вот тебе и никудышка!) и пошёл: плюх-плюх, топ-топ. Порадовался прямо Баярд, подумал:

— Ничего, может, ещё нормальный будет пёс из кути нашего. Есть всё-таки хорошие перед ним примеры, — и приосанился.

А потом Равилька походил-походил да до Баярдовой циновки дочапал. Обнял за шею, мурзик, и заснул. Баярд лежит, не дышит. Лапы затекли. Баярд и думает:

— А вдруг отвалятся лапы?.. И — пусть. Не будить же ребёнка. Это у меня, наверно, болезнь начинается. Любовь, вроде, название. Когда понимаешь: бесполезное существо, а жить без него — нельзя...

А дальше — какая-то температура. Кто-то белый взял Равильку и увёз.

Лёг Баярд среди игрушек и лежит. Есть, пить? А — зачем? Неделю лежит, плачет.

Хозяин говорит хозяйке:

— Всё, повезли его на свидание.

— Ты что? В больницу?

— Ну а что делать? Ведь помрёт с голодухи.

И отвезли. Договорились с кем надо. В вестибюле лапы вытерли. Перед палатой хозяин предупредил:

— Только тихо!

Лежит на кровати белый-белый Равилька, любимый щеночек, единственный. Глаза открыл, да как подскочит (лапки из пижамы — спички просто):

— Ты пришёл! Ты — пришёл!!! — И — на шею Баярду, а у того душа зашлась от счастья, дрожит весь. Целовали друг друга, целовали!.. А потом долго махали один другому: Равилька из окна — двумя лапками, Баярд снизу — хвостом и вообще всем собой. Пожалел ещё, что летать не умеет, вот бы кутёнок смеялся: летает Баярдище перед окном, ушами машет. Красота!

Домой вернулись, а там Аппетит какой-то оказался громадный (хозяйка сказала). Но Баярд не стал выяснять, что за такой Аппетит: есть чего-то страшно захотелось, всё ел-ел-ел. И — в сон потянуло. Всю ночь ему Равилька, за голову обхватив, что-то в самый нос рассказывал, и пахло молочком.

Все вместе пошли кутика из больницы забирать. Такой гололёд был — Баярд на четырёх лапах ещё так-сяк шёл, а хозяин с хозяйкой — еле-еле, друг за дружку хватались. Баярд санки тащит, мечтает, как сейчас кутика своего прокатит с ветерком. Вывели того — закутанного, неуклюжего. Говорят Баярду:

— Вы здесь подождите, мы ещё к врачу сбегаем.

А Равилька от Баярда оторвался, нацеловавшись, и к машине:

— У, какая! Меня на ней везли.

Присел сзади и копошится что-то. А машина и поехала назад. Какие-то кричат:

— Семёныч, ты ж на ручник не поставил! А!

А она едет. А кутя сидит, не видит. Баярд в два прыжка — и мордой кутю под зад. Кутя и улетел. Санки чёртовы зацепились за бордюр. Баярд — прыг, а не выходит. И — колесо, по спине, по животу. Неужели бывает так тяжело? — не знал Баярд.

Хозяин кричит, бежит:

— Равиль! Баярд!

Хотел пёс лизнуть склонившиеся глаза: хозяйкины, хозяина, кутины. А язык не слушается, вывалился на снег. И всё.

Так плакали… Даже хозяин. А Байярд не слышал уже, конечно.

Равиль в школу пошёл. Всё отца теребил:

— Когда возьмём?

— Подожди, не родились ещё.

И, наконец, родились. Ещё подождали и взяли. Конечно, Баярда. С ладошку, писается пока и чирикает по-птичьи, есть толком не умеет, представляете?

Коммуналочка

Граммуля опять лупил старуху Ботвинью. Старуха визжала и норовила смыться. Последнее ей категорически не удавалось: Граммуля лупцевал и одновременно бдил. Как всегда, сёстры Прохины вызвали участкового. Капитан по прибытии разорался: «Достали вы меня, уроды! Что ты к ней привязался, Грамм?» Он натренированным кулаком отшвырнул дебошира, поставил на хлипкие ноги охающую пострадавшую, кратко поблагодарил сестёр за бдительность: не дали старую зажмурить. И… пошёл к Граммуле — водку пьянствовать и — воспитывать, поскольку задружились оба ещё с первого класса.

Вечер завершился мирно: милиционер и бывший десантник Граммуля успокоили нервы, побеседовали. Хулиган обещал держать себя в руках и не третировать больше вредную и глупую Ботвинью, которая «ну достала же, дура такая». Затем хозяин завалился почивать, а гость удалился восвояси. Он решил прогуляться до дома пешочком, поскольку вокруг всё благоухало и цвело, а зной уже спал.

Дома было так хорошо: Варя, как обычно, вернувшись со службы много раньше мужа, всего наготовила, всё прибрала. После ужина смотрели кино, и капитан несколько скис: на экране бегали брутальные милиционеры и надоевшие до смерти граммули. Плюнуть некуда — всё одно и то же. Только у киношных коллег раскрываемость не в пример выше, чем у тех, кто по-настоящему пашет «на земле».

Крякнув с досады, супруг предложил отчалить на покой. Варя засмеялась специальным тихим смехом, и капитан подумал, что счастье — это вот оно — негромкое и на двоих.

Мобильник заверещал часа через два. Сразу было не понять: утро, что ли? Будильник? А, телефон! Капитан злобно рявкнул в трубу: «Слушаю!» — «Чё тут слушать, брат, — захрипел сразу узнанный Граммуля, — ты прикинь, брат, а старая же порезала меня! Я заперся, а она там Прохиных в заложницы взяла! Как бы и их не искромсала! Спятила на всю голову! Давай к нам!»

Капитан бежал к дурацким своим клиентам, пытаясь унять изумление: ну, Ботвинья! Божий одуванчик!

Старушка сама открыла. И недовольно забурчала: «Чего дубасишь как малахольный? Ночь-полночь! А я тебе, Сашка, сколько раз говорила, усмири душегуба! А ты что? Вот и любуйся теперь!» Почапала на кухню, поставила чайник.

Шибанув плечом утлую дверь Граммули, милиционер обалдел окончательно: Граммуля сидел в углу за диваном, зажимая перемазанными руками живот. Майка, брюки, пол, лицо — всё укалякано кровью. Он с тоской глядел на визитёра и мямлил в полной прострации: «Кому сказать, кому сказать — уржутся. Грамма столетняя кочерыжка порешила! Ты скажи всем: я же спал!» И — свесил неудобно глупую голову: умер.

Капитан вышел в коридор и вызвал своих. Поплёлся в комнату сестёр — обе лежали на рядком поставленных кроватях — у Вальки исколотая грудь и пустые неживые глаза. У Аньки — из объёмного брюха несерьёзно как-то торчит обычный кухонный ножик. Не дышит Анька. Тоже одноклассницы, ёлы-палы. Какие девчонки были — дыхание обрывалось.

— Ботвинья, — осторожно спрашивал участковый, — ты что натворила-то, а? Ты зачем? Да как тебя Грамм к себе подпустил?

— А и затем! И не я это, считай, а ты натворил, охраняльщик! Он сколько меня террористничал? Пенсию даже когда отбирал. А побои на старости лет?! А слова непотребные? Кто за меня постоит? Подпустил! Спал, пьяный, и курицы спали.

— А сёстры-то чем тебе?..

— А всё на нём жениться хотели, шалашовки! И то — как раз ему пара! Одна дура, вторая — того дурей. И всё меня психой звали. А за что? Я войну прошла, сынка схоронила, у меня внуки в Москве учатся! А я же и дура? А я Анна Львовна Ботвинник, ветеран, награды имею. А всё — Ботвинья! Всё орут. А тут так тихо лежат. Я подумала: вот бы всегда так, тихонько чтобы, мирно...

— Так ведь сядешь теперь, Ботвинья, — милиционер всё тряс головой, словно хотел проснуться, — ни хрена себе, тихонько, мирно...

— Да мне уже и лечь пора, так что ничего, — бабка вздохнула, — надо же, на фронте никого не убила, а тута — вона. — Она сидела, маленькая, сухенькая, в убогом халате, заляпанном чужой смертью, и как ребёнок судорожно позёвывала. Потом тихо заплакала:

— Помрачение нашло, Саша! Силы иссякли мои. Жила-жила, и чего нажила?

Саша встал, подошёл, неловко (он высокий, а бабка сидит) обнял, гладил вздрагивающую худую спину, трудно глотал и думал: «Вот гадство, вот гадство!..»

Люди прозвали зверушку ехидна...

Пенсию задерживали, и, прямо сказать, очень хотелось есть. Деньги, заплаченные за комнату кавказцами, разошлись: лекарства, квартплата. Между тем до золотой свадьбы оставалась неделя. Дед Коля и баб Нюра, будучи абсолютно одной сатаной, тем не менее насчёт подарков друг другу головы ломали порознь: каждый мечтал о сюрпризе для любимого человека.

Тут ещё пришёл участковый и всё про квартирантов выспрашивал. Старики отмалчивались или отнекивались, самих постояльцев не было. Милиционер пообещал ещё зайти. После него завалились и кавказцы. Дед строго отрапортовал об интересе к ним органов. Смуглые люди очень благодарили, а потом всю ночь что-то таскали туда-сюда, погромыхивая.

Воспользовавшись старинным народным рецептом, баб Нюра поставила

трёхлитровую банку бражки на томатной пасте. Банка пыхтела и хрюкала за сундуком, и нужно было, чтобы дед ничего не заметил раньше времени.

Как старики ни крутились, а с сюрпризами ничего не вышло. В светлый день пятидесятилетия своего альянса они уселись за пустой стол и долго в смущении и нежности смотрели друг на друга. Потом долго читали дочкину телеграмму, хотя послание содержало всего две строчки: «Поздравляю, желаю здоровья, люблю. Ваша Маша».

Не отреагировавших на юбилей внуков дружно простили: молодо-зелено, не до старья, Бог с ними.

«Невеста», покряхтывая, выудила из тайника бражку и подарила «жениху». Тот в свою очередь, смущаясь, вытянул из кармана янтарную грушу очень крупного калибра и вручил ароматный презент своей пожизненной визави. Другой закуси не оказалось, о чём, впрочем, двое за столом не скорбели. Сидели себе, почмокивая перебродивший томатный сок. И хмелели.

— Выпьем, Нюра, за нашу с тобой хорошую плохую жизнь! — говорил диалектик-муж.

— Выпьем, а что ж? Только, дед, потом под стол не свались, — соглашалась жена.

— Экая ты всё-таки ехидна! — удивлялся дед.

— А ты-то сам? Целых две ехидны! — отвечала баб Нюра.

— Ты — одна, да я — две, стало быть — трое! Соображаем на троих... ехиднов!

— А ты думаешь, они пьют?

— А чего ж они делают? Дурные, что ли?

И в который уже раз опрокидывались рюмочки.

Дед Коля предложил выпить за отца народов. Баб Нюра категорически отказалась:

— Не желаю за душегуба!

— А кабы он твою семью не сослал, мы бы, Нюра, не встретились, — напомнил дед Коля, — чего бы тогда было?

— Ой, правда, — вздрогнула бабушка, — как бы ты без меня жил? Спился бы давно!

— Я ж и говорю: ехидна ты у меня.

— А ты — две!

— В сумме — три! Надо выпить.

К вечеру были совсем пьяненькие. Дед Коля, роняя слезы, бормотал некогда читанные внукам строчки:

Люди прозвали зверушку ехидна.
Люди, одумайтесь! Как вам не стыдно?!

А баб Нюра, промокая свои покрасневшие глазки, утешала:

— Не расстраивайся, Коля. Подумаешь — ехидна! Ей всё равно, у ней же паспорта нету.

— И паспорта-то у ей нету! — убивался дед.

— И у меня, в деревне когда, не было, — напоминала баб Нюра, — а видишь, как всё кончилось хорошо?

— Что же хорошо, Нюра, когда — кончилось?! — дед плакал.

Дверь с шумом распахнулась. На пороге стояли красавцы квартиранты. Махмудовых усов было не видать за огромным букетом роз. Дени сверкал золотыми зубами.

— Мать, это тебе! — хором сообщили гости, избавляясь от цветов.

— А это, отец, тебе, — добавили, вручая осоловевшему деду красивый тяжёлый дипломат. Старики поголосили благодарно и словно дети малые кинулись его открывать. Набор инструментов дед Колю сразил: нежданно-негаданно сбывалась его старинная пенсионная мечта — столярничать и плотничать на досуге. Полочки там всякие для жены, то-сё.

Кавказцы разгрузили на стол все прилавки ближайших торговых точек. Выставили красавицу водку на смородине. Баб Нюра, к возлияниям не привыкшая, поцеловав щедрых гостей в макушки, отпросилась баиньки:

— А вы тут за дедом моим приглядывайте, детки!

Дед Коля сидел, гордый вниманием, выпивал лихо, закусывал не хуже. Гости не скупились на здравицы, по-хорошему завидовали:

— Нам, отец, столько вовсе не прожить, сколько вы с женой прожили. Работа у нас нервная.

...Участковый зашёл, увёл кавказцев в их комнату, что-то долго и строго говорил. На приглашение дед Коли присоединиться к пиршеству не клюнул, но поздравить — поздравил, руку пожал и ушёл.

Наконец застолье сошло на нет. Гости откланялись, дед поплёлся в спальню. Баб Нюра лежала тихо, и лицо у неё было вытянутое.

— Как у лисички, — растрогался дед. И подошёл поближе. Жена не дышала.

...Похоронили баб Нюру скромно. Родня не приехала, денег не собрала. Когда бы не квартиранты... эх!

Дед заторможенно озирался по сторонам и недоумённо качал головой, изредка роняя:

— Да как же? Нюра, это как же?

На девятый день он съездил на кладбище. Положил на влажный холмик грушу, совсем такую, как «свадебная». Долго ждал возвращения домой кавказцев. Когда дождался, предложил:

— Я вас, дети, здесь пропишу. Меня потом — хоть на помойку. А Нюре памятник поставьте, чтоб как у людей.

Смуглые благодарили. Предложили деду памятник нарисовать, да на следующий же день по эскизу и заказали. На простом гранитном прямоугольнике склонились друг к другу два старых лица: дед Коля и себя пристроил. Как в воду глядел. До сороковин жёниных едва-едва дотянул (постояльцев прописывал) да и был таков. Тосковал очень без ехидны своей.

Кавказцы-молодцы его рядом с баб Нюрой положили. Могилку хоть и редко, а навещают, порядок блюдут. Все удивляются:

— Как так? Такие старики были хорошие, а никому не нужны ни живые, ни мертвые. Как так?

Вместо жизни одной на двоих

Это случилось на третий день после того, как я повесилась. Буров именно тогда кончился, вскрикнув: «Какая беременность?!» — а не неделю спустя, как написано в свидетельстве о его смерти. Он вернулся в семью от своей «волоокой» цацы и с места в карьер принялся за ремонт нашего жилища. Естественно, начал с кухни и большой комнаты, в мою светёлку, где я культурно висела на люстре, выпучив глаза и вывалив чёрный язык (плюс самопроизвольное мочеиспускание, не без этого), заглянуть не удосужился. Нанятые им трое рабочих топали и матюгались, впрочем, вкалывали на совесть. Им хватило неполного дня, чтобы завершить начатое. И — дружно ввалились ко мне. Первый заорал Буров. Визжал, как заяц (почему — заяц?), и бил себя руками по бокам, взлететь, наверное, хотел? Улететь от этого ужаса? А может быть, догнать мою окрылённую, воспарившую душу? Хотя нет, я путаю (в моём нынешнем положении это естественно). Сначала трудяги, оценив собственные производственные успехи, решили «это дело» обмыть. Двое были делегированы в супермаркет (просто большой гастроном, если по-нашему), двое оставшихся, включая Бурова, занялись закуской. С последней никаких, понятно, трудностей не возникло: прежде чем примерить пеньковый галстук, я конечно же сварила щи и пожарила котлеты, понимая: любой, кто бы ни пришёл, не должен оставаться голодным... Уж этому меня Буров научил.

Как следует заправившись, и наевшись, и нажравшись, мужчины отправились в дальнюю комнату: надо было определить фронт работ на завтра. Тут-то я их и встретила. Буров, значит, тонко визжал, а его наймиты, тихонько сползая по стене и притолоке, комментировали: «Это мы чё? Бредим? Или правда хозяйская баба висит? Слышь, шеф, а чего это она?»

— Дура, ах ты, дура какая! — засоображал наконец Буров. — Это что же ты натворила, дура?

— Ты это, Петрович, — кумекали работяги, — ты это, в милицию. И скорую, наверное, надо?

Буров пляшущими пальцами нажимал телефонные кнопки и бестолково бубнил в трубку:

— А мы... А она... висит! так кто её знает, сколько... Меня дома неделю не было. Ну, типа командировка. Это... жена... бывшая. В смысле, разводиться собрались, а я... А она... Висит!..

Было очень жалко дурака. Себя вроде бы тоже. В окне так лето цвело... Соседский терьер Бенвенуто тявкал на облако, а бабушка Орефьевна из большой лейки поливала свой садик. Дети слонялись, утомлённые солнцем. Хорошо, не мои. Сначала Буров не хотел («рано, рано, для себя не пожили ещё»), а потом уже не получалось. И Буров ушёл к волоокой цаце. Как выяснилось, ненадолго. Иначе — зачем вернулся? Меня сняли и, засунув в чёрный пластик, увезли. Но почему-то всё я видела: как мучали Бурова, как снова и снова задавали одни и те же вопросы: «Так почему всё-таки, если вы ушли от жены, стали делать ремонт?» (Я решил не уходить, вернулся, и — ремонт, чтобы простила...) «А какая жилплощадь у вашей знакомой? Ах, комната в коммуналке? По-онятно... И вы, значит, стали делать ремонт? А потом — выпили. А потом — зашли и увидели? А может, если бы не выпили, то и не

зашли бы? А так забылись… А кто первый зашёл? А может, вы жену повесили, да потом убрать её хотели? Но — выпили вот?»

Буров божился, что никакого умысла, просто «она вообще, вы знаете, неуравновешенная была». Мы-то всё знаем, а вот вы-то знаете ли, что у вашей жены — четырёхнедельная беременность? «Как беременность?» Да вам бы лучше знать, «как беременность». А я и сама не знала, не до этого стало мне, когда Буров ушёл. Даже — не до этого. Буров, зачем ты меня бросил? Буров, как ты мог меня — бросить? Я бы всё равно не выжила, и жалеть не надо… А тебя жалко. Страданье совсем не спит «в холодной, вечной тишине». И с жизнью расстаться не жалко. Только с тобой было невозможно расстаться, Буров. И когда в этой маленькой камере, да и не то чтобы маленькой, но очень уж тесной, ты вдруг захрипел и медленно повалился, шёпотом крича: «Какая, к чёрту, беременность?!» — я обрадовалась, Буров. Я думала, ты умрёшь и мы встретимся. Ты умер, но мы не встретились. Это так странно. Неправильно. У тебя своя смерть, у меня своя. Вместо жизни одной на двоих. Я вижу тебя — далеко, но хорошо видно. Пустыня, а ты сидишь и перебираешь песчинки — надо перебрать все. Времени много. Не рай, похоже (не похоже на рай), но лицо твоё отстрадалось, спокойно. А я, ты знаешь, в какой-то пропасти, что ли? Совсем никого. И — совершенная невозможность дотянуться до тебя, а уж ощутить, как ты пахнешь… Ты говорил: ад — у каждого свой. Откуда ты это знал, Буров? А зная, как ты мог меня бросить? Вечностью так холодно, никогда бы не подумала. У меня пальцы стали стеклянные, и неудобно сидеть, всё время задирая голову. Надо же, Буров, над тобой качается облако с детским лицом… Прости меня, Буров!

Ольга Яковлева

Родилась в 1987 в г. Курске. Серебряный призёр Всероссийского есенинского конкурса «Роща золотая» (2005). Организатор поэтического проекта «Сквозняки: калининградская поэзия вне форматов» (2006-2010). Руководитель творческой группы «Эффект Доп(п)лера». Участник фестивалей «На ветру времён» (Санкт-Петербург), «СЛОWWWO», «Эффективная поэзия», Московского фестиваля университетской поэзии и проекта «Балтославия». Публикации: сборники «Дети бездомных ночей» (2006), «Молодые голоса: Выигрыши» (2007), журналы и альманахи «Западное крыло», «Балтика», «Параллели», «Литературные незнакомцы», «АЗЪ: пространство невозможных состояний», «День открытых окон», «Боруссия» (Польша), интернет-журнал «Русский Глобус».

*

Я не замечаю, как ты стареешь, но вижу, что ты стареешь, — годы бегут домами, людьми, стаканами — их не назвать больнее или нежней. Страшно представить, что каждый раз, умоляя время идти скорее, я отнимаю тебя у жизни и не возвращаю ей. Я собираю тебя по буквам, пальцам и по ресницам, чувствуя, как покалывает внутри, с тобой прощания не прощая, только сердце твоё мудрее — если бьётся, то не боится, ты меня бережёшь и поэтому возвращаешься. Если дышишь — то с каждым вдохом грудь становится только ближе, если видишь — идёшь навстречу, я не в силах просить о большем. Я люблю тебя бесконечно, ты об этом ещё услышишь. А ещё я не вечна — тоже.

*

Кончается день, посуду никто не бьёт, маленький бог сидит за столом напротив и чай из бутылки пьёт; чисто на кухне, раковина пуста, если не веришь нам — досчитай до ста.

Мы умывались чёртовым молоком, сглатывая приятно и нелегко; цокая то копытами, то кроссовками, всем придорожным ямам напиться одной слезой.

Всё понимали, складывали, несли — бог улыбался разбитым ртом, считая в руках нули; мы обнимались в мокрой густой траве, он говорил — когда уходит любовь, остаётся свет.

Теперь посмотри, какая крыша над головой — раковина пустая, так что, милая, бог с тобой; кончается день и деньги — зато остаётся дым, а нечего станет есть — так сердце моё съедим.

Что, если солнце закатывается, как рукава, — что-то лепить такое, в чём ты будешь права; ты не забудь запомнить и рассказать, а пока пускай это солнце закатывается, как глаза.

Мы с тобою в одном — и добро и зло, а пока засыпай — я тебя поцелую в прохладный лоб; что до истины — то она похожа на молоко, приятна и непроста, если не веришь нам — досчитай до ста.

Камень

1

люди вокруг тебя расходятся водяными кругами
наверное, ты — камень
брошенный
и несколько раз забавно подпрыгнувший
прежде чем надолго прижаться ко дну

может быть, новые волны
выплюнут, вытолкнут снова тебя на берег
лёгкого, с гладкой, блестящей спиной

только пойми, что всё это — не одиночество
это дорога, ведущая к встрече со мной

2

долгие воды сточат твои углы
рыбы будут касаться холодными плавниками
и отпечатками их чешуи
ты — камень —
будешь рассказывать новые сказки
смеющимся рыбакам и детям большой земли
потому что ты это можешь
они — никогда не могли
они родились другими — мягкими
от пушистых бровей до боков
поэтому ветры будут бродить и цепями позвякивать
будут качаться тяжёлые корабельные сосны
и красные ветряные носы рыбаков

3

маятник, который тебя раскачивает
от воды и до суши
от суши и до воды
и обратно
это тоже — не одиночество
это — правда

сколько нужно тебе проглотить песка
не спрашивай — это решит река

сколько нужно впитать и выплюнуть соли —
это решает море

в этой истории после слова «наверное»
всё внезапно становится очень просто
ты — камень
поэтому не задавай вопросов

обо всём, что пришлось придумать
о рыбах, цепях и соснах
о сонной твоей улыбке
морях и лужах
ветрах и танцах

ты — камень
а я вот ещё не решила, кем обратиться нужно
чтобы тебе пригодиться
с тобой остаться

*

Не существует людей бесстрашных,
есть разумные —
точно знающие, сколько можно взвалить на плечи,
сколько истин подвластно глазу,
так что это не время лечит,
а лечит — разум.

Тело тоже рассчитано определённым числом ошибок,
столько-то царапин, синяков, мозолей, ушибов
оно способно терпеть, но больше терпеть не будет —
это знают все люди.

А ты — ну что с тобой,
и делать с тобою нечего,
всё давно оборвано, покалечено —
ты смотри, из тебя вытекают какие большие реки!
Я — боюсь, и я отказываюсь смотреть.

*

Откуда растёт рассвет?
И места такого нет,
и точки не существует —

пускай меня поцелует тот, кто вместе со мною спит, —
ему ничего не стоит.

Покуда растёт рассвет —
не станет острее глаз,
не станут прочнее нити —

пускай меня поцелует тот, кто меня не видит.

Докуда растёт рассвет —
и хватит ли веткам силы
избавить себя от пут —

пускай меня поцелует тот, кто останется —
все, кто останется, —
лоб останется пуст.

*

это что за твёрдый запах
или в ухе бьётся рыба
ты пусти её поплавать
в организме есть вода

и ещё в нём есть идея
но она под правым глазом
и не хочет выбираться
кто пустил её туда

здравствуй серый эскалатор
покатай меня повыше
мне внизу кормиться нечем
только кеды и диплом

наверху же бродит вафля
и вязанка апельсинов
так что в целом всё в порядке
день хорош и я неплох

о моя больная шея
если б я был баобабом
то бы шея не болела
я хочу сказать о чём

если ты с ума не сходишь
значит просто рано очень
мы потерпим три минуты
и начнём начнём начнём

*

с тобой мне не обязательно напиваться
чтобы почувствовать себя плохо —
поутру головокружение слабость
тяжёлая голова
любое нежное слово одними губами
грохот грохот ещё раз грохот
я отхожу едва

и клянусь себе что больше уже никогда не буду
особенно когда выворачивает наизнанку
и ощущения тошноты и чуда
становятся одинаковыми

почему минздрав не предупреждает

любовь вызывает зависимость
любовь — причина заболеваний сердца

любовь вредит вашему здоровью
любовь вредит вашему здоровью

ЛЮБОВЬ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

употребляйте любовь ответственно

*

трудно биться вне груди

рыбу вылавливают из реки
и кладут на землю
и не превращаются в ноги
её плавники

отвернулся однажды
и всё потерял что было
прошлое держит руку на пульсе
блёклого настоящего
и отпускает

потому что уже не надо

в одном кулаке помещается голос ада
в другом кулаке половина душистого мандарина

белые львы выгибают спины
их ведёт в закатную пропасть огромный огненный бык
нежные пальцы гуляют под подбородком

как хорошо
что я всё забыл

*

Тишина и покой
и трещина, загороженная рукой, —
жмуришься, точно от солнца, на эту белую паутину,
не жалеешь умирающее окно,
надо было давно,
пока ещё не на всё плевать, —
расцвести миллионом блестящих линий,
воздухом истекать.

Жизнь сквозь оконные раны кажется мягкой
и пересвеченной,
вроде бы надо с ней что-то делать,
да только поделать нечего,
разве что камни стачивать
бережно, как вода,
как всегда, —

стачивать камни, стаптывать башмаки,
не давать оконным порезам выглядывать из-под руки,
любить тебя между делом,
с курением завязать,
витаминами запивать больное
и на всё остальное
тихо закрыть глаза.

*

Коробка
со всем, что у меня болит –
стоит на морском берегу.

Я ее берегу.

Коробка
со всем, что у меня болит –
никто её не унесёт.

Никто её не унесёт.

Коробка
со всем, что у меня болит –
нужна, чтобы раз – и всё.

Чтобы раз – и всё.

Коробка
со всем, что у меня болит –
стоит на морском берегу.

Я её берегу.

*

напившись
я взбираюсь по трубе
мне кажется
к тебе

ведут все реки
и тянется железная рука

а вдруг она тебя взяла и держит
там высоко неведомо зачем

ползу четыре дня и пять ночей

со всех сторон окон меня зовут
на тёплый ужин слово одеяло
ругательства шуршание и свист

и ваза разбивается о щёку
за нею груша талая летит

всё там внизу
и здесь посередине
сливается в одну сплошную боль

ещё ползу
за ветками не вижу

а если там невежливы с тобой

там высоко где незачем дышать
земная ось под лёгкими проходит
тебе не больно?

мне – уже почти

и ржавчину с ладоней дождь не сводит

а если ты на этой высоте
себя находишь вольно и спокойно

я лишь увижу
и махну рукой

ах если бы

я думаю

напившись

почти взобравшись

падая с трубы

*

Анютин глаз – один сплошной синяк.

Не плачь, цветок.

Тебя сама природа
придумала

не с теми

и не так.

*

На большой высоте –
свистит и тянет,
если откроешь.
Тебя не станет,
если откроешь.
Отломишь,
скрошишь –
сколько тебя
(чуть полнее ложки
столовой
было
песка и пыли).

*

ветер вылизывает из головы у моря
дурное
нас с тобою
нас с тобою

сердцу непросто
сердце молчать не может

белую землю наши шаги тревожат

полуслепой маяк виднеется вдалеке

ветер доволен
море больше печаль не гложет

только что-то ещё виднеется на языке

*

Свет мой,
я тебя не вижу –
так темно.

Бродят звери за расшатанным окном,
только двери не умеют открывать,

значит нам ещё не нужно умирать.

Посидим ещё немного, помолчим.

Свет мой,
я тебя не слышу,
не кричи.

Уши залиты небесным серебром,
как по маслу нож ложится под ребро.

Блёкнет комната, сужается на треть,
жаль, что сказку в этот раз не досмотреть,

сказки славные родятся к ноябрю.

Я посплю чуть-чуть и после досмотрю.

Алекс Гарридо

Родился в 1963 в г. Калининграде. В 2007–2010 — участник проекта «ФРАМ» (Макс Фрай + «Амфора»). Роман-трилогия «Акамие» (Санкт-Петербург, 2004), роман «Видимо-невидимо» (Москва, 2011). Сборники стихов «Сопрано» (2003), «Ангелы и другие» (Москва, 2007). Публикации: сборник «Солнечное сплетение» (2005), альманах «Насекомое», журнал «Запад России» и др.

*

потому что каждый из нас мандрагора:
плачет в темноте и скрывает слёзы.
и душа растёт из того же сора,
что растут стихи, лебеда и розы.

потому что каждый чуткие корни
прячет глубоко, не тащит наружу,
не кричит, не машет на колокольне,
птицею крикливой в небе не кружит.

или, если кружит, — всё больше молча,
всё кругами ходит — мимо дороги,
вдоль флажков горящих побежкой волчьей,
обдирая настом босые ноги.

потому что каждый из нас — граалем
может быть внесён в онемевший замок,
потому что нас для того призвали,
потому что там — ни границ ни рамок.

а здесь, куда ни глянь, межевые камни,
паспорта, границы и часовые.
вот потому мы здесь поживём и канем
в темноту и глубь, где корни живые.

потому что каждый из нас мандрагора
и кричит, на свет нарождаясь, — больно.
и молчит о тьме, где темно и вольно.
потому что каждый из нас — мандрагора.

*

извини меня: из вины меня выведи,
поставь вроде дерева отдельно стоящего —
веточка к веточке, не спутанного с другими.
измени меня: из меня — меня выуди,
чистого, честного, настоящего.
дай мне подходящее имя —

назови меня, то есть дай мне название,
отражающее цель и смысл.
призови меня, то есть дай мне призвание,
то есть через меня — назовись.

исцели меня: сделай своей целью
сделать меня целым —
стану деревом белым —

каштаном цветущим в мае,
елью в снегу по голову в январе.
я знаю, я понимаю,
это не даром даре...
не дарится просто так,
в долг не даётся —
это чудесным образом достаётся,
а за что, почему — не знает никто,
и не узнать никак.

но дай мне ещё немного
сил, умений, чуткости, красоты.
дай, прошу ради бога —
и смеюсь.
и смеёшься ты.

кому говорю, кто слушает,
кто поёт в ответ?
прошу для себя, прошу лучшего —
смеёшься: да ведь и худшего нет.
всё равняется нам,
как мы всему же равны.
что важнее — осень, весна?
летнее буйство, зимние сны?
летом цвести — зимой выживать,
можно наоборот.
дай мне адамову власть называть —
уголь горящий в рот.
сглотну, содрогнусь,
засияю насквозь и наружу.
ни-ни, не клянусь,
но воли твоей не нарушу:
её не нарушить никак,
она сама нерушима.
разогнав облака,
ты смеёшься с вершины.

арктика, говорю, антарктика.
смеёшься.

Вальпараисо

нарисуй меня в этом городе
светом по темноте
нарисуй там бухту и горы
фонари причалы заборы
может мне и найдётся где

между домов разноцветных где-нибудь
карабкающихся улиц
потеснив ступени и стены
проступить из лиловой тени
и побыть пока все не проснулись

нарисуй меня срочно
пусть неточно
пусть непохоже
нестерпимо без кожи
в обрамлении улиц и комнат
дай мне хотя бы контур
обозначь мои очертанья
вместилище тайной
моей любви невозможной
хочу чтоб под кожей

чтобы плоть содержала полость
из которой выдохнуть голос
разбивая молчанье
как в начале

закричать и родиться
закричать и обратно
если можно продлиться
умножаясь стократно
то это — вот оно
наскоро смётано
да скроено ладно

вот и держится век за веком
и раз за разом
быть человеком
быть живым — это так заразно

передавая друг другу
перенося из местности в местность
нашу радость и муку
нашу веру и честность

нарисуй меня снова
я не стану молчать
даю тебе честное слово
рисуй
сейчас

*

говори огню. говори, душа, не молчи:
он один, огонь, — в тишине, во мраке, в ночи.
больше никого: только ты — и огонь во тьме.
не оставь его. говори, не молчи, не смей.

говори воде. говори, душа, поспеши:
некогда молчать, вся вода живая — бежит,
падает с небес, из земли пробьётся ручьём.
расскажи воде, как прекрасна участь её.

ветру говори. он и сам молчать не горазд!
говори ему: не себе оставит — раздаст
облакам, и птицам, и крышам, и фонарям.
с ним, душа, ни слова не пропадает зря.

говори земле. ей терпенья не занимать.
мёртвым всем могила она, всем живущим — мать.
говори душа — как умеешь, благодари.
ветру говори, говори огню... говори.

*

я говорю я говорю да что там да что ты
в сердце же чёрным и горьким нальётся тугая завязь
это не про горенье это не про полёты
это такая стыдная такая честная зависть
отчего бы не ей расцвести и зачать сегодня
завязаться узлом завязаться яблочком горьким
порчи неизлечимей червоточины безысходней
зависть в раненом сердце режет запёкшейся коркой
вот она хоть щупай руками пальцами тыкай не денется
дуй на неё целуй её плачь над ней
на руках укачай подушкой души ничего ей не деется
вот такая она и я вот такой с ней
неладный негодный не-до-стой-ный
с ней самому себе немилый да и до неё — никому
как это я да ничего не стою
как это жить нелюбимому
всеми-всеми совсем никогда никем
у-ми-рать
яблочко горькое уголь горящий в голой руке
злая мать
зависть моя укусила меня самого
если кто здесь другой породы другого рода и вида
то вам пожалуй лучше послушать другого кого
а я вот сегодня вечером буду плакать завидовать

*

я собственно речь-то веду о чём
есть некая тень за моим плечом
и некая тень за твоим плечом
ты просто попробуй представить на миг
они очень похожи на нас самих
наши черты повадки и нрав
но их не волнует кто из нас прав
вот я про свою расскажу вот так
бывает что ты мне становишься враг
как будто ты мне поперёк души
как будто ты всё нарочно решил
и кругом идёт тогда голова
и я говорю такие слова
что лучше бы мне их вовсе не знать
и тогда моя холодеет спина
тень наливается темнотой
и поражает меня немотой
тень проникает руками мне в грудь
тень моё сердце сжимает чуть-чуть
чуть-чуть останавливает на миг
и дыханье рвётся и грудь щемит
и твоя обида плачет во мне
пока прижимается тень к спине
и я умолкаю моя любовь
скажи такое бывает с тобой?

*

ухожу говорю ухожу на дно
говорят там холодно и темно
там тяжко холодно и темно
и пучеглазые рыбы
ты
бы
выпустил бы меня из рук
если б знал что я не просто умру
что уйду на дно где будет темно
и пучеглазые рыбы
и лежать мне там сто и тысячу лет
и единственный свет там рыбий свет
пучеглазые рыбы несут фонари
у них электричество есть внутри
и химические процессы
на них давят многие тонны воды
никакого солнца луны звезды
никакой тебе радуги ни зари
одни пучеглазые рыбы

несут свои фонари впотьмах
и они давно бы сошли с ума
но единственный кто здесь сойдёт с ума
это
буду лежать считать фонари
вместо сердца себе заведу внутри
пучеглазую тёмную рыбу
не
на
дыбу
не колесовать говорю
не в костёр говорю
я тону не горю
я тону и тонны воды надо мной
мой свет небесный мой свет земной
мои пучеглазые рыбы

*

и пришла ко мне ведьма, сказала — учи албанский
приплыла ко мне рыбка, сказала — катись колбаской
я бы рад и того и другого и даже с хлебом
хлеб да круг колбасы албанской под синим небом
чёрный хлеб, колбаса с чесноком да под небом синим
и запить водой или сладким заесть апельсином
если синее небо — значит, жаркие страны
не расти апельсинам было бы, друг мой, странно
там где синее небо, где во́ды поют лукаво
реки горные слева, речные долины — справа
дальше синее море и волны бегут качаясь
там вдали край земли и край небес намечая
море синее, синее небо и апельсины
приплыла ко мне рыбка вздохнула печаль бессильно
вот те хлеба ломоть вот те круг колбасы перчёной
среди синего моря на острове бык печёный
нож точёный в боку у быка
а дорога к нему далека
эта сказка течёт сквозь века
засыпаешь? пока-пока

*

а он плачет и плачет что всё ему поделом
потому что был дураком потому что шёл напролом
где надо в обход и хитростью — прямо к цели бегом
а бегущего видно всем издалека
по бегущему-то и не дрогнет рука
раз бежит — значит вор ату ату его пли

вот так понимают жители этой земли
и правильно понимают и все бы так
а он чудак он дурак он полный мудак
что же теперь из-за него всем страдать
может покаяться о содеянном зарыдать
может его ещё теперь пожалеть
может прахом главу посыпать сидеть в золе
да он смотрите всем стыдно сделать хотел
чтобы мы понимаешь своих устыдились дел
что в бегущего пли и огонь и ату его
да он нарочно да у него же святого нет ничего
и за душой ничего и в помине нет
да как посмел да куда смотрел педсовет
а он лежит и плачет на облаках
он бежал он летел он нёс тюльпаны в руках
он бархат роз он пышные перья хризантем
он бежал бежал он не знал что бывает с тем
кто бежит летит кто не видит преград в любви
вот как сердце в себе невозможно остановить
так и он не мог остановить этот бег
ты о ком ты о ком да нет я не о себе

*

превиоус двадцать и двадцать некст —
вот оно, гаданье на лыт-дыб-рах:
сочини свой самый прекрасный текст
и вернись обратно в глину и в прах.

впору предаваться отчаянью.
в детстве знал, что вечность, а тут — облом:
пётр уже позвякивает ключами
и харон постукивает веслом.

превиоус двадцать и двадцать некст —
я сажусь френдленту читать с утра.
я не одержим переменой мест,
пусть сегодня то же, что и вчера,

набело пусть то же, что и вчерне:
сказано, так сказано, — к чему вензеля?
пресвятая дева, молись обо мне,
чтоб меня ещё немного,
совсем немного,
лет двадцать-тридцать, всего-то...
жалко, что ли?
чтоб меня ещё немного носила земля.

спасибо.

*

не то беда, что они думают, будто нас не бывает.
да они о нас и не думают совершенно,
ни что нет, ни что есть, — а нас вот всё прибывает,
прибывает, вот-вот затопит вершины.

а чем мы от них отличаемся? да, собственно говоря, ничем.
только маленькой синей бабочкой, пригревшейся на плече.
а больше, пожалуй, ничем мы не отличаемся.
только мы иногда в другие места отлучаемся,
тело здесь, а мы сами где-то, где синей бабочки лето,
где под иными углами отражает лучи вода,
но снаружи и не заметишь, что никого нету,
даже не догадаешься никогда.
что только тело здесь.
а мы уже везде.
где только может солнце отражаться в воде.
и там, где не может, — мы тоже есть.

а они о нас и не знают, и знать не хотят — ни к чему им.
им так не страшно, не обижайся, с нами — страшнее им.
и вот они делают вид, будто мы и не существуем,
как будто существованьем мы как-нибудь им навредим.

а я есть и люблю тебя.

Роман об ангелах

бисером, бисером шей — ни к чему тебе эти мурали
на стену лезут сдуру и от безмужья
а ты и сама вполне, и приданое вот собрали
нестыдное — и вообще тебе это не нужно.
живо за пяльцы — мать с отцом не позорить!
ишь размахалась, краски-то извела — стра-ашно...
здорова! с иглой бы встречать-провожать зори,
а хочешь мазюкать — наличники вон не крашены!

девочка, девочка — свет мой, выходи в поле
я тебе небо раскрашу в цвета золотые
так говорил мой ангел, пророчил волю
а я босиком по снегу, а ноги стынут
а ноги стынут, а небо ало, золото выше
не дотянуться, не достать, не подправить кромку
а за холм провалилась родная солома-крыша,
только дым на цыпочки — видеть спину мою с котомкой

и пожелать удачи
мамо, не плачьте
я уже ангел...

мастером, мастером — ангелом после, ещё успеешь.
дело нехитрое — ручки накрест, глазки закрыла.
ты человеком сначала — пока душой не доспеешь,
не набухнешь, не распахнёшься — не выдадут крыльев.
ты давай, давай, отмирай, не глупи, не надо,
да, я твой ангел, да хоть сам чёрт, если хочешь,
по таким-то щекам лупить... а ноженьки! ох ты, чадо
неразумное, ах ты ж, девка, ах, карие очи...
ну вот, я тут думал — вроде пора и жениться,
а мы тут с тобой до утра под одним одеялом.
да ты не маши руками, ну что, что птица?
я ж тебе рук не свяжу, ни в большом, ни в малом
не откажу, только люби да лаской
не обдели, да, как водится, без измены.
и не думай — я куплю тебе краски,
я построю тебе стены,
я буду тебе — ангел.

*

Он шёл по реке. Ему ветер ложился на плечи,
Под вечер ложился на плечи ему отдохнуть.
И крадучись осень за ним занимала поречье,
В ладони дерев рассыпая весёлую хну.
Он шёл, выдыхая сквозь полое таинство флейты
Последнюю веру в приют, и ночлег, и очаг.
И льнуло к нему вместе с ним уходившее лето,
Усталые ветры сложив у него на плечах.
Шиповником алым, в шипах, за суму и одежду
Поречье цеплялось, вцеплялось, вослед голося.
Он шёл, отступая, спасая себя и надежду,
Из осени, как из пожара, её вынося.
Любимый, я помню: он шёл не спеша и не медля,
И что-то твоё в нем мерещилось, что-то моё.
С тех пор, что ни осень, всё туже затянуты петли,
Всё крепче силки, тяжелее душа на подъём.
Её придавили тяжёлые влажные комья
Осенней земли, и спасенья от осени — нет.
И все нам чужие, кто видел его и не помнит,
Кто не обернулся ему, уходившему, вслед.

*

танцуй, красивый, время подождёт,
пока танцуешь, Троя не падёт
и Карфаген не может быть разрушен,
пусть только мне — пусть даже мне не нужен
беспечный, вольный, вечный твой полёт,
танцуй, красивый, время подождёт,
история не сделает ни шагу,
я и мараю белую бумагу,
танцуй, красивый, это всё пройдёт,
отступит боль, рассыплются гробницы,
иные имена, иные лица,
звезда падёт, и новая взойдёт,
и это никогда не повторится —
не кончится, танцуй, красивый, пусть
звездой восходит новая надежда,
пусть всё, пусть ничего уже как прежде,
но ты танцуешь — значит, я вернусь:
любить, сражаться и марать бумагу,
история не сделает ни шагу
без нас.
танцуй, красивый.

*

Я вернусь, я очнусь, если только смогу,
Там, где рыжая женщина пляшет в кругу,
Там, где плещутся флаги её на ветру,
Я вернусь, если это и значит: умру.
Я вернусь, дотянусь, я рукою коснусь.
Если это во сне — никогда не проснусь.
Где в траве её ноги стройны, как трава.
Там, где я был не прав и она — не права.
Там, где солнце горело в её волосах.
Там, где тени легла от неё полоса.
Где на краешке тени, на краешке дня
Место есть, место есть, места нет для меня.

*

Виноградом и розами, ромом и солью морской
на губах моих город именем и тоской.
Любитель лаванды, рома и облаков
был выведен на расстрел — да и был таков.
Однажды ранней весной в Вальпараисо —
после месяца боли, отчаянья и темноты —
он не то чтобы полностью переродился,

но стал со смертью на ты,
как раньше был с жизнью на ты.
И он знает, что с миром слеплен из одного теста.
И возможно, поэтому мир говорит с ним открытым текстом.
Этот мир говорит с ним вслух — самозабвенно:
говорит ему прямо в сердце, шепчет ему на ухо.
Просачивается в капилляры, течёт из артерий в вены —
такая выходит внутренняя, доходчивая наука.
На пальцах показывает, рисует ему картинки,
увлекается объяснениями, растекается мысью
по древу жизни его, хлюпает лужей в ботинке,
пронзает мыслью, пронизывает ветрами, сияет высью
над головой —
потому что он настолько, настолько живой,
насколько он может — и даже немного свыше,
и когда устаёт — боится смерти.
Боится смерти.
И тогда он слушает мир и записывает, что слышит.
А мир говорит, говорит, почти не шифруя,
разве что самую малость, азарта ради.
И он вторит этому миру: весь не умру я,
и даже когда умру, здесь останется радость
от того, что я был, от того, что я здесь случился,
воплотился в живое, такое тёплое тело.
Я всю жизнь ничего не умел — и всему учился.
И опять не умел, но за всё хватался и делал.
Я весь этот мир — никак, понимаешь, никак,
но всё, что могу хоть на миг удержать в руках —
дотянуться, коснуться рукой или сердцем, обнять, —
я всегда хочу сохранить и всегда начинаю менять.
Потому что каждый из нас таков — и я таков, —
что едва он входит в вагон, в квартиру, в игру,
изменяет соседей, попутчиков, игроков,
изменяет воздух, звуки и свет вокруг.
И поэтому знаю, сущего не удержать,
но что приходит на смену — покрыто тьмой
неизвестности. И мне страшно руки разжать —
но даже это отсрочки не даст никакой.
И тогда я кидаюсь навстречу страху и тьме
и там каждый раз нахожу отвагу и свет.
И так я учусь любить, бояться и сметь —
и так я однажды выйду и встречу смерть.
Но ещё говорят, я слышал: что смерти нет.

Константин Давыдов-Тищенко

Родился в 1966 в ст. Вёшенской Ростовской области. Участник литобъединений «Симплиций» и «Ревнители бренности». Публикации: сборник «Дети бездомных ночей» (2006), альманах «В направлении прозы», журналы «Запад России», «Балтика», «Черновик» (США).

Блок

Было это[1], опять же, в Петербурге. Вернее, уже в Петрограде. В то самое время, когда всё заиндевело, и думалось, ещё немного — лопнет гранит. В очищенном облаками небе чувствовалось наличие отдалённого грохота. На улицах пусто. Не так, как ночью. А днём. Неправдоподобно.

Я думал: какая чистота, какая строгость — голые деревья, голая река… голые мечтанья, голая жена… Пусто, всё пусто. И темно. Даже днём.

— Зачем было ввязываться в эту войну? — спросил я, не глядя.

Он не ответил. Остро выпростал глаз и через секунду продолжил, усилил шаг.

Жест был понятен. Уже задавая вопрос, я положил, что так и будет. И не случись движенья, решил бы — моих слов он не слышал.

Сейчас всё впало в забытьё. Сон наяву. Миновал век, и никто не вспоминал событий трёхлетней давности.

Я помнил. Помнил, как это было. Там, до войны.

Галантерейные пакеты с безупречной белизны бельём, жемчужные запоночки в оправе золотой сети меридианов, видного пошива и бесшумной поступи штиблеты… это где-то за гранью памяти всплывали благочестивые околичности «старорежимного» быта. Те, что так ненавязчиво сопровождали отдельные толчки к упражнениям в гражданской позе и отчасти были их же источником. Даже позвоночная мука Думских часов и прекрасный образец дорогущего интерьера — хрусталь позади стекла, наполненного аквариумной водой, — казались непоправимо прочнее всяких потрясений. Но Блоку тайны не было. Не зная о дне и часе, он уже был зачат дыханием подкорковых пустот, уже различал колёсный стук на вздыбленных трактах и беглые вспышки под наплывами мозглой сырости. Блок ждал её. Он знал, догадывался о приближении. Чуткими верхушками нервов ловил скрытое присутствие. И приходил в тайное бешенство от беспечности, в коей все мы пребывали. Солнечные дни наполнялись смешной — сегодня — серьёзностью эсфетических переворотов, шампанским, перемежаемым манифестами о чём-то новом, и свежий, с залива, ветер по утрам никак не предвещал той мрачной холодности, куда однажды вдруг ухнул весь наш неверный мирок.

Когда интенсивность красок буднего дня сходила на нет и ежевечерне сгоравший дотла фронтон напротив отрезала тень, безмолвно-гипсовый контур его лица недвижно отступал, смешиваясь с фиолетовыми долями спектра, и пропадал в метахондрии потёмок. Безо всякой видимой на то причины напряжение верхнего света оставалось невостребованным, и зачастую это продолжалось неделями.

Уединённость никоим образом не препятствовала периодической циркуляции сладковатого слушка о неслыханных распутствах. Он был распутен. Так говорили. Не без милости саможертвенного намёка Александр не возражал — закулисные портьеры обнаруживали невнятные вздымания — и всё же производил впечатление человека, который уверенно отказывается от всех предоставляемых женщинами услуг. Чистота опровержению не подлежала.

Между тем Александр задумал писать о жадном скифе, что жарил мясо белых братьев. «Да, скифы Мы!» И потом, когда действительно началось, вступил добровольцем. Куда и кем, не помню. На это как-то мало обращали

[1] Соответствия фактам и исторической хронологии текст не содержит (*здесь и далее прим. авт.*)

внимание. Но было много шуму. Маршировали колонны, громыхала музыкия. «Прощание славянки». Из окон германского посольства летели бумаги. Канцелярские облака тмили сажу. Толпа ревела и топала. На высоко вознесённом балконе мелькнул император с государыней. Винные лавки закрылись.

Тотчас заказали фотографа. В новенькой бледно-серой шинели, в маленькой фуражке Блок стоял с краю, припав на колено. И улыбался.

Много и с колоссальной энергией (вспомнили Достоевского) говорили о патриотизме, о Славянском Союзе, о кованых полчищах, надвигавшихся с запада (братья сербы бьются в окружении), но причина улыбки открывалась в ином! Это была Война.

Сама по себе, как данность, как нечто… Нечто, занявшееся со всех четырёх углов. Тектонический сдвиг, рвущий материнское плато жизни, безусловный рефлекс, без привязи к врагам и неврагам, необъяснимое потому, что и объяснять не надо. Завершённая форма поэзии. Надзвёздная тёмная даль… у войны было бледное Блоково лицо.

Цветы связками ложились на мостовую под вальяжный шаг конногвардейцев. Транспаранты мощными гребками черпали гретый воздух. Виденный вблизи мажордом неизвестного полка вдохновенно жонглировал орденами и подмигивал. Это было ужасно! Это было прекрасно!

Уж он-то понимал: последний в жизни проходной балл получен. И пошло крутиться, откуда ответа нет, где — навсегда. Никто не ждал. Только ОН. Единственный. Это был отзыв его душе, его воле, творившей грандиозный План — исполнение желания. Это была сама душа! Царство Духа.

И вот… мы вместе шли по Невскому. Город закаменел. Застыло само время. По левому локтю каждый раз оказывалась река. На правом тянулись заколоченные витрины магазинов, рестораны с сильно пострадавшими довоенными вывесками и дома: разновеликие, лишённые светящегося тепла, по большей части уже мёртвые. Изредка хрипели вороны.

Запоздав на полшага, я незаметно посмотрел на него сбоку. Великий поэт эпохи. Чуть сутул, руки отпущены в карманы глубоко и виснут неподвижно. Ворот забран наполовину, мел лица съедает поверхность дня, его неверную бледность. Мы незнакомы — ответил профиль.

Многие говорили, что он красив. Очень. Драгоценный, до истончения отмытый породой леденец. Может быть. Но красота эта была другая, гладкая, под неполным набором заимствованных эмоций, маска с прорезами для глаз. Слишком много отталкивающего нездоровья. Точно сквозь кожу проступил чужой, мёртвый человек. Не жилец.

Я вспоминал. Брак с Менделеевой. Вдохновенная попытка обновлённой возвышенной любви — не прикасаясь к полу. Первый опыт создания чистого существа, от ногтей составленного из молекул Красоты и прозрачного эфира. Лаборатория идеала.

Драматическая вышла картинка; оливковый полусвет, он сидит на стуле сквозной залы петербургского дома спиной к окнам, отгородившись растением в кадке, почему-то не снимая шляпы, и, мучая набалдашник поставленной между ног трости, длинным голосом в нос объясняется в странных вещах. Обхлопанное пальмовой лапой лицо отвёрнуто в угол. Бархатистая кромка ушного овала светится абрикосовой спелостью.

— Я переходил мост. И остановился на самой его середине понаблюдать закат. Я видел огромный, медленно плывущий, с дрожащими краями шар

над безбрежною, такою же красною водою. Горькое сожаление и печаль наполнили меня, как будто в этот пылающий круг воплотилась грусть всей вселенной, всего мироздания. Боль пронизывала, распирала, выдавливала моё существо, и внезапно родилось ощущение, ясное предосознание того, насколько мы конечны, смертны в убожестве нынешнего... — И, что ни есть в комнате вокруг, опрокинуто, сдвинуто, смешано, двери стоят, полуоткрыты, полузакрыты, Люба (постоянно выпадающая ость колет в горячую щёку) мечется, укладывая чемоданы. Уже начинает сгущаться. И проецируемые с улицы оконные ромбы через колено ломаются об острые края бюро и столешниц, как-то непринуждённо перекладывая интерьер в незаконченный кубистический шедевр.

Начинал он с себя. С подчёркнутой убеждённостью, с маниакальным педантизмом. И, как следствие, мелкие ссоры, перерастающие в истерические скандалы, сцены со страшными упрёками, наконец глубокие измены. Вполне взаимные. Не идеальные.

Остановившись среди опустевшей квартиры, совсем один, Александр мучительно переживал случившееся, лежал, ткнувшись в глухую духоту зелёных подушек, не выходил из дома, ждал её возвращения. До времени оставлял уже почти завершённые работы... Любовь появлялась с внезапностью срочной телеграммы, свежа, полна, отомщена.

Вновь радость немыслимых взаимооправданий, слёзные поощрения (натурально слёзные), клятвенные вздохи. И действительно начиналось сначала: он был ей не нуж.

Так это или не так, но Александр вознамерился пропустить через себя всё вино мира. Лето тянулось к предполагаемому концу, на Офицерской улице, 13 горел свет, неделя непечатная сменялась неделей и вовсе пьяной. Блок блуждал. Крепкая печень уносила тело сквозь кварталы в уплывающий вечер. Он подолгу рассуждал об античной скале, куда морской пеной вынесло скелет Афродиты, а забывшись, начинал говорить об ощущении разбиваемого локтём стекла, когда мимо, как на открытках для поздравлений, проскальзывали очаровательно картавые крошки в матросках. Нева лежала под окнами ресторации тяжёлая, грозная, затаив дыхание. И всё меньше оставалось мгновений с такими же далеко простёртыми облаками, закатами, дачной тишиной и берёзовыми тропками, какие были в России до дня, когда их не стало вовсе...

Но и война не развязала всех узелков.

— Слава богу! — с несвойственной экспансией отчаяния почти воскликнул он. — В первый раз хожу по Невскому и не слышу этих румынских скрипок!

«Ничего, — улыбнулся я про себя, — скоро будет. И это тоже».

Первое же столкновение с господами «товарищами» сомнений не оставило. Хозяевами они были новыми, кабинеты — старыми, с очевидными признаками имперского полураспада. Где-то, куда мне довелось сунуться по случаю, под кабинеты исподобились употребить большой букетный магазин, предварительно изрезав полезную площадь на многократные клетушки, с парой реанимированных венских стульев в каждой, слабым цветочным ароматом и жжёным солдатским котелком на подставке из книжной пирамидки. От роящихся просителей работников «совдепии» отличали непробиваемая леность, скоро перебегающие глазки, осатанело остылый взгляд и порою просто полное отсутствие таковых. Они и не скрывали своей сугубо

материальной непомерности. Во всём — всегда. Неподконтрольное им было нетерпимо. Недопустимо. Что не успели изъять у «раскулаченных» сословий сумрачные субъекты из «чека», предназначалось направить во вновь приотворённые коммерческие ворота. Верный признак: в язык, будто только из-за границы, вернулось ладонью прикрытое слово «нанять». Рестораны оказались неизбежной изнанкой плакатной революционности. Принципы — штука прикладная. Но где теперь они найдут таких подавальщиков?

Я промолчал. Я не желал быть брешью в душевной слепоте Александра. Да и не мог. Сказать ему о «новых переменах» (!) значит вызвать очередной приступ сумеречной депрессии. Он не стал бы ссориться, но избегал бы всякой встречи, даже при посторонних. В лучшем раскладе, с лёгкостью выдоха, не поверил бы. Не того он ждал от Творимой Легенды. Душа вдруг дала сбой. Обманула.

Однажды вьюжным вечером, при свечах, окружены ближним светом, собрались люди — свои и некоторые промежуточного типа. На миг из плена небытия освободились уютные пропорции убитого быта. Всё чаще встречались реже, и говорить было не о чем. Эйфория миновала, настала скука. Окна заложили книгами, чтобы не сквозило. Сидели. Кого-то ждали. Потолок отсутствовал.

Вопреки обыкновению подали электричество. С обозначившейся плоскости потолка обрушился ослепительный поток, и тотчас же в передней раздался стук. Каждый ощутил себя немного голым.

Была Ахматова, какой-то Эренбург в козлином тулупе с чёрным рукавом, который сильно мазал ваксой (другой естественно жёлт), явились, кажется, Шкловский и некий юный композитор в роскошных белых валенках (впоследствии Шостакович). Да, это точно было именно тогда. Такой обуви не видели уже давно. Анна долго смотрела на валенки и вдруг громко сказала:

— Молодой человек, какие на вас интересные гетры...

Но смеха не последовало. Ограничились общим перевзглядом. Покомкались. Ситуацию исправил бывший прапорщик, холщовый с ног до головы.

— Россия такая страна, в которой даже здравый смысл — своего рода художество. Не правда ли? — Он покосился в стенное зеркало и задумчиво прибавил: — Сначала всё как будто ясно... а потом начинается Мировая История!

Присутствующие ухмыльнулись. И возможно, понимающе. Произошла беседа. Кто-то очень старался, с усердием нажимал на слово: «по». Произносил как: «по-э». «По-э-ръусски». В перерыве длинного и в целом бессодержательного разговора, под морковный чай и пастилу (вместо сахара), о новом «изме» Блок повернулся ко мне и с искажённым лицом бросил странную фразу:

— При чём здесь Революция!

Я уставился на крышечки от чайников и чайничков, твёрдые, как соски мраморной богини.

Да, действительно. При чём?

Война... над брызжущей, кричащей плотью, над грязью, скрежетом хаоса и смердью рдеет купол аполлонической зари — победный стяг единого порыва человеческих самоотвержений. В последних содроганиях смертельная тоска нисходит в лаву дионисийского варева, и во вскипевшей волне, мощной упругой волне, уже проступают литые формы восходящей ясности и покоя.

Однако в пятнадцатом, когда под ураганный огонь получаса артподготовки Людендорф прорвал оборону у Горлицы, и потом (не хватало все-

го: снарядов, продовольствия, лошадей) брели нескончаемыми дорогами и обозами назад и назад, стало ясно — это только великий пролог. Пролог в Революцию! Во всеобщую переделку. В тотальную реконструкцию бытия и человека. Вот на самом деле что предугадал он тогда, скрываясь под тихой улыбкой ещё небога. Всемирная Революция! Путь к преображению. Духовный оргиязм...

После февраля-марта он был ироничен. Хотя и носил красную повязку. Когда в сентябре объявили Директорию Керенского — смеялся. Сказал: вместо подвигов — психоз. И, бросив пространство между диванной подушкой и письменным столом, отправился гулять. Бодрым шагом, с любопытством. Сегодня он был мрачен. Чувствовал, что обманут.

Снег-эклер. Снег-крем-брюле. Хрустель. Трещит, будто свежекрахмальная постель. На улице топчется «красный» праздник с оркестром и лошадями. День Подарка постепенно истощается. Мешки исчезают в боковые под мостовой. По панели никто не бродит.

Теперь это был человек, которому как бы постоянно не хватало сил закрыть за собою двери. Достигнув, казалось, всех воплощений, затаился, возмущён. Иное двигало Блоком. Более эпичное, более масштабное. Совпадавшего с общим течением голов, с движением волны, его тем не менее выносило во вне. Он решал другие вопросы. Вопросы бытийные, а не бытовые. Не пша и кубаршины. Или «селёдочки на маленьких тарелочках». Но экстаз единства. Слиянный синкретизм. Любовь! И даже тогда, когда вмобилизовался на разгрузку ночных вагонов со снарядами.

Блок, разгружающий вагоны. Здесь любопытна сама процедура. Вагоны и Блок. Бытийное всё-таки и есть бытовое. Хотя бы только в видимости.

Я размышлял о «Двенадцати». И смутно догадывался (догадывал): не наставлял впереди идущий апостольскую охрану, ОНИ ВЕЛИ ЕГО! Под конвоем и под расстрел. На людоедство в Тайную вечерь. «В расход», как теперичь изъяснялися. Благо, казнили много и часто. И не только по строгой необходимости. Собственно, как и замышлял этот: «в белом венчике из роз». Дымка грозного самопорождения, апокалипсис (в греческом понимании этого слова[2]) отождествления... и счастье избавления. Бог был тринадцатым, из всех последним. Дюжина — чёртовой!

[2] Откровение

И на следующий день (прежним исчислением 26 октября) не все знали о случившемся накануне. Взятье Зимнего не столь уж кровавый спектакль, как многое после. Ни почты, ни радио, одни только слухи, под притоп калош заносимые с улицы прислугой.

Тот вечер и последовавшую ночь Блок простоял у окна, зарывшись в тяжёлые шторы. Прислонившись виском к ребру оконной рамы, глядел поверх крыш в мечущиеся по небу кресты. Прожектора. Фосфорические лучи протыкали скорый ветер, обёрнутая облаками луна (старуха в ленточном чепце) бесшумно падала в чертожные потьмы. В уголку подвывало морозцем. Когда среди ночи стала бухать артиллерия и в часах жалостливо заверещала бронза, он впал в беспокойство, перерастающее в неистовство. Это «Аврора» несколько раз весьма основательно накрыла палаты Эрмитажа. Александр вцепился в пальто и, несмотря на протесты горничной и домочадцев, вырвался на простуженные углы города.

Чёрное, едва пришлось выступить за порог, тотчас сгустилось многократно, поглотив оттенки себя же, и населилось неясными шевелениями. Мело.

Он бежал, не чуя шага, спотыкаясь, суя на ходу в рукав, не попадая пуговицей в петлю. Только звуки нахлёстывающей перестрелки и редкие всполохи над железом кровельных днищ подсказывали дорогу во мраке. Удача, если не приключилось столкновения с гражданскими лицами, тем паче с каким-нибудь флотским патрулём. И уже без аллегорий — при оружии.

Не чувство страха, не одиночество или ощущение беспощадного холода вместе с остатками домашнего тепла умерили всю его непомерную горячность — внезапность предрассветной тишины, установившейся по кругу, заставила Александра поднять глаза. И возвратить себя в кабинет к оконному пульту. Как мне сообщили, он был почти невменяем. То ли от восторга, то ли от действительного помутнения разума.

Когда с неба забрезжило серой мутью и в комнате посвежело, Блок наконец оставил пост, открыл чернильный прибор и взялся за письмо.

Свершилось… Сберегая в наследство только пальцы, стиль и бумагу, он навсегда покидал минувшее. Уходил. Череда безупречно спокойных ровных фраз ложилась на снежно-белые поля, с фотографической ясностью фиксируя физически ощутимые секунды той странной ночи. И не бывших там он заставлял задержаться, бесстрастным лицом оглянуться поверх плеча в светлеющее стекло, под отклонённую штору, и вспомнить саму ткань мира. Одной лишь верой во власть слова он принуждал быть очевидцем ЭТОГО. Пусть без улыбки счастья, но здесь и сейчас, о том, что было там и тогда. Было!

Утро тишайшее. Без единой складки на небосклоне. Даже как будто ветр, так обычный на гладко уметённом паркете невской воды, остановился вдохнуть в полную грудь. Но Александр слышал, какой вавилонский рёв озарял этот покой изнутри. Глас исходил из перспективы. Медленно нарастая, он множился, дробился, ложился на поперечные потоки и, уже разжимая пальцы, раскрывался в безудержно гигантский раструб.

Новый мир! И миг, когда вчера отделимо от завтра, низкое от высокого, несомненное добро от несомненного зла. Без колебаний. Качается скопище речных мачт, дремлют фабричные трубы, стали ниже шпили дворцов — черта подведена. Проведена по контуру крыш. С неба утро, внизу ночь. Ночь и люди. Сопящие, спящие в тёплых кроватках, не знающие об эпохальной заре. И вместе с ними весь тот мелкий путаный кружок, который ещё накануне пил чай, веселился, играл в рулетку, вертел столы, отражался в непристойных зеркалах… Кто-то быстрым шагом вошёл в подпольный кабак и не глядя хлопнул полубутылки, точно гвоздь по шляпку вколотил; кто-то, спокойно запершись в кабинете, лениво разбавлял себя багровым «Букетом» и о чём-то мечтательно мычал. Отставной генерал в лампасах и пуховых тапочках на босу ногу ходил из комнаты в комнату, скрипел полами и сердито портил воздух. Да так, что брала оторопь… Сознание сохранил один. Блок. Не упустил ни минуты. Но едва свежий декрет вступил в силу, Александр слёг. Полностью обессилел. И не раздеваясь ввалился в свинцовый сон. Воротник душил. Но совесть поэта была чиста. Хотя бы только в этот день.

В записке: «Сегодня Я — Гений».

«Не забыть бы завтра», — уже смыкаясь под чёрными водами, напоследок улыбнулся он, когда чугунный радиатор парового обогрева, опередив кружение в пустоту, перевернулся и превратился в позвонок однажды вымершего чудовища…

А город... город тем временем проснулся, хлебнул чай и с исконно петербуржской пунктуальностью поспешил к службе. Ещё не в последний раз. Вот этого Блок не видел! Обычные, в общем-то, люди. Неопределённые, не переделанные...

Я смутно помню те дни. Скорее, угадываю. Кажется, у меня шла работа. Нерасторопная осенняя чудь ладно складывала длинные предложения. Упоение одиночеством было редким. Я пил кофе и, не жалея свеч (благо, электричество гасло дважды в аккурат), сутками засиживался за письменным столом. Я понимал: что-то происходит. Под окнами клубился сырой туман, ещё с темна бродили тесные толпы, сорили подсолнечной шелухой, о чём-то кричали, свистели, несли плакаты. А по прошествии дня начиналась перестрелка. Палили то в отдалении, то поблизости. Что заставляло время от времени поднимать глаза к потолку, вздыхать и изумляться.

Но по-настоящему о случившемся я узнал, когда, расслабившись, решил почитать свежие газеты. И таковые не обнаружил. На своём обычном месте. Это было уже нечто!

Выискав номер, я соединился с редакцией по телефону, и после минутной паузы в меня дохнуло чем-то, с трубой аппарата не совмещаемым. Отборный площадный мат в глубине мембраны. Хриплый, по-видимому, в парах, голос облагал слух гнуснейшими словами. Причём без всякого на то с моей стороны повода. Беспредметно. Вот это-то и сбивало. Ничем не мотивированная внезапность, с которой давно знакомые вещи выскальзывают из рук и становятся чужими. В противность готическим романам о замках с приведениями это пугало.

Несколько раз я пытался менять формулировку вопроса. Однако в ответ на вежливое обращение, кроме заключительного:

— Кацёночекъ — тебе драздецъ! — так ничего и не добился.

А вскоре связь исчезла вовсе.

В состоянии полного недоумения я проглотил остатки кофе, быстренько завернулся в пальто, вооружился зонтиком и, прерывая интенцию к своей экзистенции, поспешил пройтись под серенькую марлечку дня. Будучи в волнении, даже позабыл предупредить, чтобы скоро не ждали.

Как снится сон? Как запоминаются вещи. Странное... кажется, я действительно очень давно не был снаружи. Мосты перекрыты, но не разведены. Приходится подолгу огибать окольными путями. Мельком, между домов, на перекрёстках и во дворах расположились боевые заставы. Мрачные люди с сосредоточенной серьёзностью выносили мебель, иногда, желая не утруждаться, выбрасывали прямо из окон и тут же на мостовой рубили в щепу, жгли костры. На кострах шипели котелки, и белый пар, прибиваемый к земле, стлался низко и далеко. Бородатые в папахах солдаты жевали цигарки, о чём-то переговаривались и, пританцовывая, тянули рукава к огню. На импровизированных вешалках из стреноженных винтовок с примкнутыми штыками трепыхались по ветру мерзкие портянки и линялые обмотки.

Запомнилась сцена: на зелёном с золотыми шишечками диванчике (салонный завиток) развалился некто средний между Стенькой Разиным и кучером Селифаном. Питая явное пристрастие к левой ноздре, он сонно пролистывал Брокгауза и Ефрона и, выдирая по странице, бросал лепестки в огонь. Колени легендарного героя могли бы рассказать о правде гораздо более, нежели голова.

Полиция отсутствовала. Её не было нигде. Кто-то, оборачиваясь к прохожим, с хохотом пересказывал, как ловили прежде «вот тут» стоявшего городового, а потом топили в Мойке.

Лишь изредка мимо проносились набитые гроздьями революционеров грузовики. Интимно качаясь в ритм мотора, соратники льнули на плечи друг друга, и по широким местам в разные стороны, точно куры на скотном дворе, прыгали и бежали люди. Люди, кто во что горазд, мешками, корзинами, саквояжами (явно не собственноприобретёнными) волокли груды чёрных винных бутылок. Их было много. Более чем. Пьяных не убирали даже с трамвайных путей. Редко выкатывающиеся автомобили безнадёжно увязали в омуте лезущих праздношатающихся. Я очутился возле Адмиралтейства. Осенённый небом Всадник, чей габарит столь внушителен, лик всегда ужасен, одночасьем оборотился в растерянное, без воли, существо. Протягивая энтропически застывшую десницу, он озирался, не в силах поверить происходящему, и таял, будто влекомый вниз по реке предмет. Лава заливала город.

По бульварам носились горы листовок. Свесившись с мрамора, наседали ораторы, у всех были стандартно длинные пальто и пенсне под шляпой. Аффектно вскидывая локти, молящиеся грозились на небо, на головы, на угол сквера, бурно кашляли в платочек, задыхались. «Делегированного» сталкивали вниз, по плечам взбирался следующий — уже солдатской внешности, — и действие повторялось тем же путём: кукольная безголосая фигурка в просвете между толкующихся затылков. Порою митинговали по двое, по трое, по сторонам света, что критически умножало царившую здесь ситуацию неразберихи и безразличия. Никто никого не слышал и не слушал. На одной из площадей, песочно перемешавшись, кипели сразу четыре собрания. Мреющими порывами доносились решительно отрубаемые обороты: «кормить вшей», «посылать на убой», «империялисты-кровопийцы», «ядовитая гидра капитализма», «чума предательства», «шакалы мировой бойни», «продажные девки наймитов», «напиться народной крови», «вырвать поганые языки», «железной пятой раздавить гадину», «выжечь калёным железом», «убить, как бешеных псов» и наконец «поразить молнией возмездия». И всё это в перенасыщенной атмосфере, на фоне «разгорающегося Пожара Мировой Революции»...

Ступени очень известного в столице здания, плечисто оборотившись к воротам, сторожил тяжёлый пулемёт. Без единого лица охраны. Одинокий и гордый, как Охтинский мост.

Сквозь прорези гребёнки колонн, угадывая черты биржи в день падения процентных бумаг, бесконечно вбегали и выбегали накрест перепоясанные нечёсаные люди в коже — «товарищи». Через решётку сада было видно, как в коридорных проёмах на красных коврах накатом вдоль стен лежат армейцы. Периодически кто-нибудь отлипался от массы, остервенело скрёб лопатку и валился тут же досыпать дальше.

Знакомые лица — умственный запор, речевой понос, взгляд расфокусирован — встречались редко. При столкновении из ладони в ладонь вытряхивалась груда жутких слухов про Москву, будто там всё выгорело, и от Кремля — достовернейше известно! — остались одни головешки. Сообщали и сомнамбулически проносились мимо в гудящие кварталы. Я ходил и только дивился. Молча.

В общей суматохе на меня попросту не обращали внимания. Раз вспыхнув, механический погрёб скатывался, въедаясь в городские щербины, и здесь — я был объект лишний. На выбитые стёкла уж точно взирать не стоило…

И всё-таки там, на задворках, где лай собак империи уже не слышен и мысли остаются в оголённом одиночестве, дышалось как-то мрачно и радостно, и не поддаться ненасытной жажде событий — было нелегко.

Потом, когда побили все стёкла, наступили морозы. Зима в этот раз взяла очень круто. Захлопнулись ставни. Застопорилось всё. Остыло, обезлюдело. Народ побёг до деревни. Там потеплее, там посытнее, да и от экспериментаторов с экспроприаторами подальше. Только мы с Блоком скрадываем сумерки от моста к мосту. Редкий снег сегодня садится, словно седина. Покамест белое, небо опрокинулось под ноги. Точно фасция портьеры, отодвигаемая ладонью за боковину окна, спина — его спина, — приталенная хлястиком, уходит за пределы взора. Следом тянется панорамная лента противолежащего берега. Мимо — барышня с привокзальным лицом. Торопится. И — никого. В зрачках Блока пустынь.

— Это должно было бы длиться вечно, — сказал он. — Где обещанный рай?

Меня едва удержало от вопроса: что значит «рай»? Что сие разумеет под собой? Но спросить, всё равно как напомнить о большевичка́х, открывающих валютные рестораны. Я старался относиться к Александру понимающе, а потому — всю дорогу молчал. И только кивал, сопел, кашлял, сморкался и охал.

— Если единица вычесть единицу, что-то же остаётся. Нельзя, чтобы всё это, — он сделал неопределённый жест вокруг, — чтобы всё это так и оставалось. Нельзя стоять. Надо двигаться дальше. Изменить. Перепахать.

Он производил впечатление человека неземного. То есть как бы не присутствующего здесь. Как будто вместо зрения аберрация сознания. Не знаю, догадывался ли он, что есть только зазубрина в путине могучих иллюзий? Может быть, да. Но знать он того не желал.

Замахнулся и рухнул тысячелетний столб. Но что-то важное в этой картине чудес — ускользнуло и не вернулось. Некий намёк. Прозрачный, но очень важный. Желалось дальше и ещё, довершить каждый вопрос, найти каждое решение, но… остановилось. И глянуло чужим, холодным, неузнаваемым. Не начавшись, переминулось и поползло назад. Явилось видение в громком шуме и яркой иллюминации. И расточилось. Безусловно идеальный гомункул истаял в ничто. Пришли красномордые мужики. Пришли и сели. И ничего не случилось. Вещи не слетели с приличествующих мест. Проложенные орбиты замкнулись в кольцо. Время вернулось в колено.

Последние вести были тем бессмысленней, чем очевидней. Подвалы «чрезвычайки» трудились и день и ночь, а плоть всё прибывала. Первый план украсила физиология и все её отправления. Большевики занялись перераспределением недвижимости и продуктовых пайков. Выжимаемость перешла в стадию выживаемости. И чем дальше, тем яснее проступал этот влажный подтекст. Но Блок всё ещё надеялся, всё ещё не сознавался, даже себе. Промежутки от текста к тексту вырастали. И только больше бесился.

— Тесно, очень тесно, господа. Не развернуться, не вздохнуть. Как будто в душном сне, в маленькой комнатке, сидишь, задыхаешься, а дверь открыть не можешь. Боишься.

Он ругался. Костерил большевиков, а в особенности «совзнаки». «Не деньги, конечно, но всё-таки». Радовался исчезновению «ятей». Хотя сам же предпочитал орфографию старую.

Стемнело. Мороз усилился. В квартальных дебрях завыла ещё не околевшая собака. Стало тоскливо и страшно. Я семенил следом. Всё кивал, соглашался, часто невпопад. Своротив, как у музейного гида, голову на бок, спросил:

— Не правда ли, странная фамилия — Ленин?

Вместо ответа он вспомнил детство, лёгкость летнего сада, дворянское баловство. Перескочил на «Возмездие» и… я не выдержал.

— Знаешь, домой пора. Замёрз. Да и супружница ждёт.

Это был короткий, но вежливый, почти интимный отказ.

Он остановился. Выпрямился. Повернулся. Посмотрел совершенно дикими глазами.

Чувствуя, что отрекаюсь троекратно, я виновато втянул голову и, оставляя его одного, побрёл прочь. Оглянуться я так и не решился, но знаю, он ещё долго стоял у меня за плечом, погружаясь в сизые слои сумерек. И ничего перед собой не видел.

Через несколько дней мне сообщили: воротившись домой, Александр часами перемещался из комнаты в комнату. Отворял и затворял двери, заглядывал в углы. Иногда останавливался. Стоял, глядел в стену. Избегал постороннего присутствия.

Потом вдруг страшный треск, шум и глухие удары. Прибежали, посмотрели. Блок обрушил на пол статую Аполлона (это был именно Аполлон) и несколько раз ударил её кочергой. Отчего скульптура утратила некоторые члены и вообще пострадала. Кочерга валялась тут же на ковре.

После чего лицо Александра сделалось серым. Ещё несколько погодя пришлось бежать искать врача…

Новый текст сложился быстро и легко. Литой, как горошина. Сюжет, говоренный стотысячраз, незаметно подобрался к заготовленному финалу. В который уж раз. В который уж раз я пожал плечами, отложил перо и с сожалением вздохнул. Вместо живота — яма. Очень хотелось есть. А в доме — ни крошки.

ОБНАЖЕНИЕ ПРИЁМА

Без названия

Блеск водки… похож на мазутную плёнку в час вечерней полумглы… Когда баржи дремлют, взвалив зады на причал. Вскрикнет редкая чайка. Приподнимется сонная волна. И ты вздрогнешь, глядя на последний солнечный след между бортами. Померещилось что-то знакомое. И исчезло.

Так бывает, когда лежишь рядом, не смея прикоснуться. К женщине. Слишком горячей для тебя, а значит, и слишком холодной. До «любви» ли здесь? До «бога» ли? Знобит от этих слов. Тянешь одеяло. И трезвым краешком ловишь себя на том, что свалился где-то на середине означенного пути.

Чтобы ускорить вечер, зажигаю свет. Ставлю чайник. Вернейшее средство от болезней на почве любви. Но с побочным эффектом. Мощусь на табурет. Молчу. Смотрю в окно. Когда писк часов на запястье подскажет, что уже пора, ещё надеюсь – день не кончится просто так.

Но день кончился. Уже. Вернее, перебит ночью. Огня нет… И от моря веет холодом…

А ведь на самом деле я хотел бы жить на окраине. Где раздробленная кирха торчит из ветвей, как прообраз перспективы Кремля. Где есть сумасшедший дом без забора. И люди, которым нечего больше желать. Каждый день они выходят побродить по периметру. Чтобы на ночь вернуться в дом.

Сразу за поваленным деревом там начинался бы лес и булыжная мостовая, теперь ведущая в никуда…

«Когда стемнело, я проснулся…»

Когда стемнело, я проснулся (полувоенная экспедиция на другую планету, погоня, стрельба, нет выхода, в каналах лежат полузатопленные баржи, во тьме прячутся чудовища, наконец полный разгром) и вышел на улицу в направлении магазина.

Город шумел низким однотонным гулом. То есть как бы удаляясь в никуда. Восстановленный шпиль собора быстро сближался с небесами. Прорисовывалась звёздная крошь и лимонная долька луны. Кое-где сквозь проржавевшую кровлю неба ещё запускало тонкие пальцы тускнеющее светило. И в сонной воде уже шевелились цепочки ночных фонарей. Огней становилось всё больше и больше, и текущие мимо автомобили покрывались сиреневым неоновым снегом.

На ступенях казино, уронив голову на руки, плакал старик немец. Рядом стоял чей-то велосипед и, нетерпеливо подбоченясь, ждал хозяина.

— Эй! Зёма!

Из проволоки кустов вырисовался сгорбленный силуэт. Что-то всплывшее из детства. «Четвёртый лист пергамента». Прокажённый уродец.

— Зёма.

— Чего?

— За пузырь отдам… смотри…
— Да на хрена! Свой есть…
— Смотри! Это Кант! Без п…

В подмышке он держал круглый, покрытый пегими пятнами предмет — довольно свежий череп человека.

— За бутылку, бля-на…
— Где взял?
— А, — махнул рукой алик, — от деда осталось. С войны ещё…

Теперь он полностью выдвинулся из темноты, расставив ноги, загораживая западную полусферу. Острый красный клин вонзился ему между ног. Потомок гунна, внук степей…

— Чирик… — колеблясь, предложил я.
— Иди ты… — искренне обиделся «зёма». И голова Канта исчезла впотьмах.

Я вздохнул, помусолил бумажку и вышел на середину моста. Отсветы Багрового города ещё лежали на стенах домов по обе стороны реки.

До магазина оставалась всего пара шагов.

«Однажды видел Пушкина…»

Однажды видел Пушкина. Всклокоченный человек с жёлчным лицом бежал вверх по лестнице. В доме его ждали. Но видеть, похоже, не желали. В руках покойного была палка с громадным наконечником. И оной он кому-то грозил. Наверное, старому лакею в глубине передних.

Петербург поражён новостию. Конечно же это условность. С десяток лет протолкавшись меж бочек с кислой капустой, можно было не знать ни Натальи Николавны, ни даже плешивого щёголя в имперских каретах. Но вечерами, за наблюдением жёлтых огней и высокородных силуэтов, фантазия живо строила все эти паркетные страсти. Недоступные и потому не желанные.

А теперь представь себе дождь. Мелкой сеткой. И после — протяжный закат. Так выглядит этот город сейчас. Он состоит из множества углов. Тупых, сырых, острых. В углах темно. И пахнет кислой капустой…

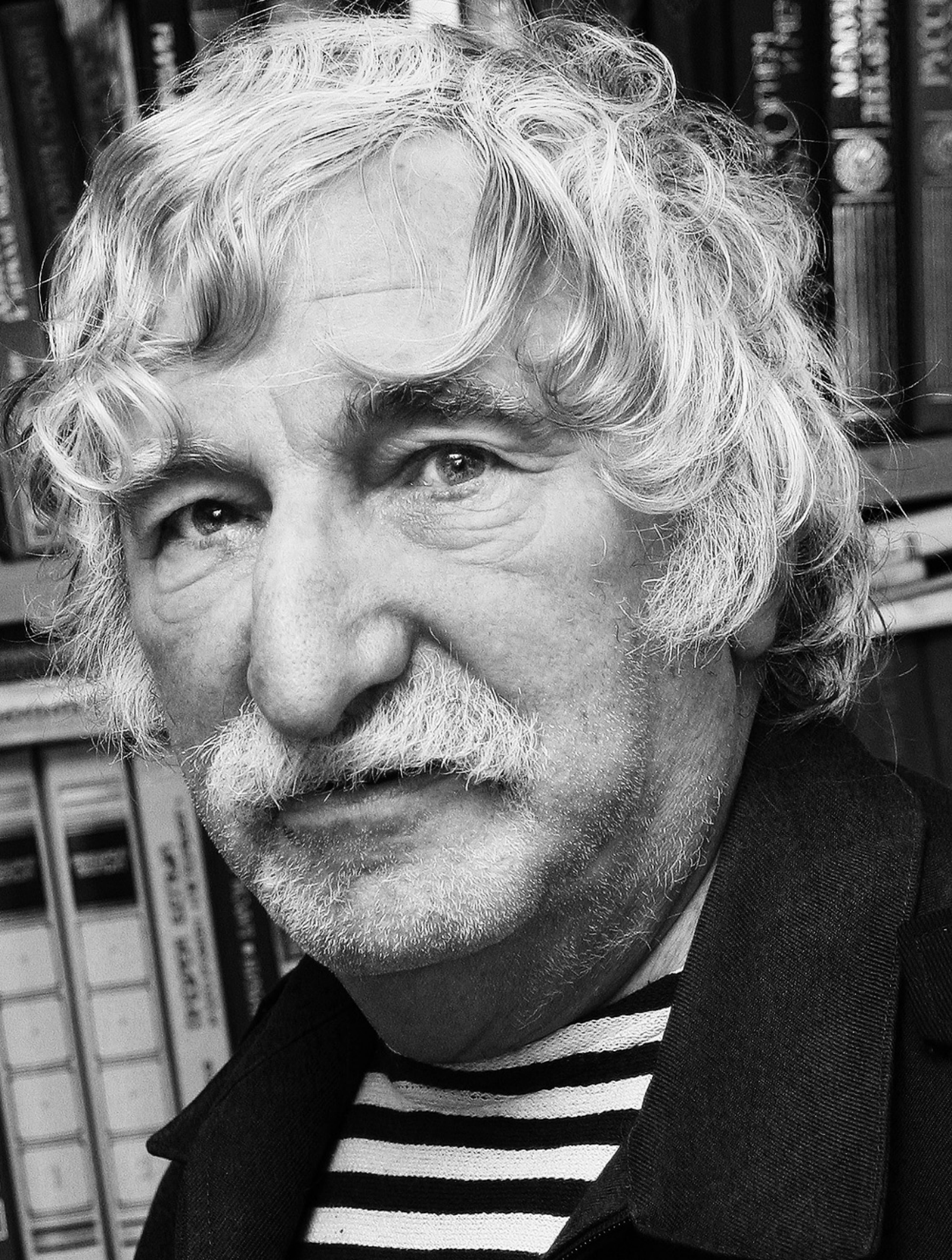
Перевод с рукописного

Ещё ввечеру день клинится в тупик перспективы. Камень остыл. Забыл, когда был глиной. Солнце лежит под забором, с обратной его стороны. И долгим взглядом провожает в спину, прижимаясь щекой к щели.

Вот сумерки удалились. Кланяясь, маленькими шажками, оставляя нетронутый снег. Снег — это форма воды, способная прятать землю в подоле, её следы. И печатать на чистом поле свои. Весною проходит и это.

Холод не тот, что ожидалось вначале. Тем зима не фригидна, что источает пот. Мыслей нет, все чувства ещё короче. Полуденный сон в диване ложится на дно слепящей реки. И вещи во взоре отходят в звенящей зыби потоков зноя.

Пустыня… Ты и сам вполовину точно безликий Янус. Он не знает, с какой руки приставить ладонь ко лбу. Сколько во тьму ни прячься, всегда останешься солнцем к лицу.



Сэм Симкин 1937–2010

Родился в г. Оренбурге. Поэт, переводчик. Член Союза российских писателей. Заслуженный работник культуры. Лауреат премий «Признание», «Вдохновение» и премии Восточно-Прусского землячества в Германии (2001, за перевод книги Эрнста Вихерта «Ещё звучит моя песня»). Переводчик и составитель антологии «Свет ты мой единственный: Стихи кёнигсбергских поэтов» (1993) и серии книг «Поэзия Восточной Пруссии» (2002–2004). Руководитель литературного объединения «Родник». Более 30 книг стихов и переводов.

Венера

Ты обломала руки в драке,
тебя, закутанную в плед,
на чёрном рынке в жадном страхе,
слюнявя деньги, сдали в плен.

Теперь в Европе или в Штатах
идёшь, как прочий изохлам,
размножена в мильоны штампов
по этажеркам и столам.

Слабы к любовному напитку,
мы страсти пьём, как из ведра.
А чем поддержишь ты накидку,
когда её рванут с бедра?

И знать не хочет этот толстый,
с губой, измазанной в пюре,
что ты — богиня, а не просто
цветок ночного кабаре.

Станция отправления

От чутких домоуправлений,
предупредительных услуг —
настало время отправлений
без важных званий и заслуг,
без ваших дочек,
прущих в жёны,
без огородного коня.
К чему быть скарбом нагружённым?
Он лишним будет для меня.
Мне ни прощенья, ни прощанья —
долой изменчивый уют!
И захмелевшие мещане
в меня застенчиво плюют,
в моё простое направленье…
Не опоздать, не опоздать
и эстафету отправления
рукам упругим передать!
Ты видишь, как трепещет пламя —
и высоко и далеко, —
от поднимающего знамя
до развернувшего его!

***

Человек столь простодушно
воплощает красоту:
змей бумажный, змей воздушный
набирает высоту.
Лётная пора отваги,
сотый день подряд погож…
Человек
на лист бумаги
удивительно похож.
Так случается, что сразу
всё заладится с утра,
сконцентрируется фраза,
биография, судьба.
Просто с жизнью в разговоре
человек сказал: «Пиши —
опыт берега и моря,
опыт мира и души».
То, что жизнь, волнуясь, впишет, —
тем и будет человек!
…Раскрываются и дышат
сто кувшинок в устьях рек.
И рукой подать до счастья
в миг,
когда без лишних слов
ткнётся о причал дощатый
лодка, полная цветов.

К морю

Я шёл к нему, судьбы началу,
за тридевять земель
и за
благословеньем —
клокотало
и выжигало мне глаза.
Закольцевало,
как зазноба,
ажурной сканью зазвеня,
ошеломило до озноба
и разом грянуло в меня.
Из книг я вычитал его,
открыл в разноголосом хоре,
но первый раз увидел море —
и стало страшно и легко.
Оно звало меня:
«Пойдё-ё-ём!»

и пряталось в тумане синем,
но было лёгким на помине,
и я стал лёгким на подъём.
Пошёл за совесть и за страх
и не обрёл судьбы дороже:
оно надолго въелось в кожу
и запеклось на вымпелах!
Семь степеней его свободы
всегда несёт в себе моряк.
Их не утратишь через годы,
как невозможно дважды сходу
войти в одну и ту же воду
и как *нельзя* гасить маяк.

***

Я выбросил в море три майки,
в работе истлевших дотла.
На Кубу, Гаити, Ямайку
легко их волна отнесла.

А ночью на палубу «Веги»
упало три малых звезды,
как будто бы тройка в разбеге
свихнулась от быстрой езды.

Я трижды горел на работе
под шум корабельных винтов,
за дух процветанья на флоте
к любым испытаньям готов.

Ещё
до последней побудки
сношу я три майки подряд...
Под музыку боцманской дудки
три новых звезды догорят.

Да будут три тайны открыты
рыбачкам,
созвездьям,
цветам...
Короткие строчки открыток,
искусанный текст телеграмм.

Твои сухопутные губы
шутя произносят слова:
Ямайка, Гаити, Куба —
Антильские острова.

***

Существует обряд: когда юноши покидают
Гавайские острова — девушки бросают в океан венки.

Мы шли ещё порожняком
всего в полмиле от Гавайев,
за промысловым дневником
своих подруг не забывая.
Раскрыв иллюминатор настежь,
увидел,
будто знать я мог,
ты горизонт рукою застишь,
а с островов плывёт венок.
Так мир тебе, островитянка,
в твоей юбчонке травяной.
Но марш «Прощание славянки»
возник,
как крылья за спиной.
Звук белых льющихся волос,
освобождённых от гребёнок,
мне тот старинный марш донёс
до барабанных перепонок.
У нас прощания легки.
Тот марш вобрал обрядов мало.
И вовсе не плывут венки
от опечаленных причалов.
А ты, венок,
плыви за мной
под марш «Прощание славянки»,
и мир тебе,
островитянка,
в одной юбчонке травяной.

Верблюд в зоопарке

Морскому зверю — море льётся,
а вот пустынь не создают.
И скучно, скучно!
Не плюётся
цивилизованный верблюд.
Здесь, как в оазисе, побеги
цветут.
Служителей гурьба.
А он мечтает о побеге
и копит мужество в горбах.
И видит:
шествуют верблюды,

их гонит солнечный удар,
их бьют измученные люди,
когда кончается вода.
Там, в дюнах, с ними счастье ходит,
но нет ему пути назад.
Он вдохновенно мордой водит:
ему б вернули этот ад!
И вновь светлеет отрешённо
его раскосый жёлтый взор,
и за узорчатой решёткой
встаёт пустынный горизонт.
А по входным билетам честно
разгуливает праздный люд,
и никому не интересно,
что слишком тесно здесь и пресно…
И докажи, что ты — верблюд!

***

Что утаил футляр обычный?
Мелодии каких разлук?
Пусть нам раскроет ключ скрипичный
сердечный скрип, скрипичный звук.
Какие тайны Страдивари
в молчанье нотного крючка
припрятал в стареньком футляре
на взмахе тонкого смычка?
Вот инструмент у подбородка,
гриф,
как весло,
зажат в руке,
и скрипка,
лёгкая, как лодка,
плывёт по вспененной реке.
Я вслушиваюсь, как акустик:
река впадает в океан,
и музыкой её до устья,
до верфей — воздух осиян.
Казалось море по колено.
Ушёл последний пароход.
Но скрипка голосом сирены
о том отчаянно поёт,
что жизнь пресна без жизни личной
и без любимой быт суров
дел корабельных и скрипичных
равновеликих мастеров.

Посвящение

О. М.

...И подарил мне ученик
солдатский котелок:
он стал дороже, чем дневник,
теплей, чем костерок.
Ты это хорошо поймёшь,
когда промозглым днём
густого чая отхлебнёшь,
заваренного в нём.
Вольнее котелок кипит —
прочнее нитка строк,
и значит, сам — не лыком шит,
твой варит «котелок»!
Инициалы
прочитай
на крышке котелка —
всех,
с кем делил горячий чай, —
и станет даль близка!
Пусть жизнь сложна и коротка —
меж прочего всего,
ты воспитай ученика,
хотя бы одного.

Квазимодо

Ах, туман! Он своё молоко льёт
по соборам и кабакам.
...Как языческий бог с колокольни,
безобразный и без языка,

Квазимодо — химера собора,
он вобрал эту площадь и зной,
этот звон,
этот гомон и говор,
этот танец
цыганки с козой.

Люди верят не только полиции,
верят в Бога и помощи ждут,
или верят в гаданье по лицам,
или в переселение душ.

Коль в полицию веришь — Бастилия,
веришь в Бога — старинный собор,
а язык выворачивал «милая».
Его вера.
Его приговор.

Эта страсть и любовь — не идиллия,
здесь под крышей собора любить,
выворачивать: «милая», «милая»,
ей и хлеб и цветы приносить

и звонить… со своей колокольни.
Звон как золото.
Как он богат!
Ах, туман! Он своё молоко льёт
по соборам и кабакам.

Им лишь готика — плоть, дух, опора.
Рококо и барокко не впрок,
коль с рождения в камни собора
втатуировано слово «рок».

Но судьба сохранить не хотела
этот танец
цыганки с козой.
Приползти, защитить её тело,
изнасилованное толпой.

И собор, показалось, разрушен,
и туман показался — концом…
Наизнанку бы вывернуть душу,
милой в волосы спрятать лицо
и звонить со своей колокольни…

Как он беден, и как он богат.
Ах, туман! Он своё молоко льёт
по соборам и кабакам.

Старые ленты
(триптих)

1

Чем никогда, так лучше поздно.
И через тыщу одну ночь
ко мне явились
кинозвёзды
и просят чем-нибудь помочь.

Мне кинозалом стала спальня,
проклятую судьбу кляня,
девчонки с площади «Испания»
вот-вот заплачут у меня.

Кино прокручено, доверчено –
а ты всё машешь мне рукой,
и улыбаешься
доверчиво,
и нарушаешь мой покой.

Как будто нежные напутствия
друг другу в микрофон орём.
Эффект взаимного присутствия –
но мёрзнешь ты
под фонарём.

Ах ты, Кабирия,
Кабирия,
улыбка в мире лицемерия…
Здесь дело не в фотогеничности —
в естественности,
в человечности.

2

О, как быть любимой!
В чаду общежитий
неловко ужиться поэзии с прозой.
В часы заблуждений,
в минуты наитий
опять опадают махровые розы.

Безродный Азор,
он мохнатую лапу
протянет с достоинством местного мэра.
Он каждой из роз
знает контур и запах,
Азор… с обонянием парфюмера.

О, как быть любимой!
О как бы пролиться
всей чашечкой с лепестками
в петлицу!
Увянуть,
вдохнув человечьего вздора.
……

А роза упала на лапу Азора.

3

На безрыбье скучаем,
горек хлеб без сырца…
Крепким фильмом и чаем
побаловаться.

Не видать переборки —
так крепчает табак.
Гибель славной семёрки
обсуждает рыбак:

«Мне с ковбоем сдружиться —
дважды два. Свой народ.
Их телами мужицкий
удобрён огород».

Боль как сцена немая.
«Может быть, живы те,
что острят,
зажимая,
дыру в животе?»

«За судьбу кабальеро —
весь разбойничий клан.
Жаль, не влазит сомбреро
в судовой наш экран».

Эти старые ленты
будоражат наш дух.
Но внесёт свою лепту
голос штурмана вдруг:

«Эй, на кинопрокате,
трал к отдаче готов!»
Нас семь ливней окатит,
с нас сойдёт семь потов.

Рыбака огорошить
во флотском кругу
невозможно,
как лошадь
подковать на бегу…

***

Нам глупый дождь за ворот лил,
нас разлучил на год…
Мои планеты — корабли
«Сатурн» и «Алиот»,
да судовая роль —
уметь
планеты обживать.
Но будет палых листьев медь
звенеть и оживать.
Как солона вода морей!
А за морями —
глянь —
земля,
той соли солоней.
Едва забрезжит рань,
к ней сразу выведет компа́с
«Сатурн» и «Алиот».
Пробьёт для нас урочный час,
пусть дождь за ворот льёт,
скажу я гаснущей звезде,
любому кораблю:
— И на земле и на воде
аз есмь,
и я люблю!

***

Весна
корректирует
карту,
закусывает удила,
и первая бабочка марта
трепещет мембраной крыла.
Отложится в нашем сознанье
чудесной материи ткань,

летящее рядом созданье,
природы мгновенная дань.
Лоскутик живого декора,
танцующий солнечный блик,
кружащаяся Терпсихора
коснётся ладони на миг.
Да будут грядущие Вёсны
сознание нам опалять
и бабочка та
перекрёстно
цветы
на лугах
опылять.

***

Что с жизнью пьют на брудершафт
без чоканий и тостов?
Быть может, ром, быть может, шнапс,
быть может, воду просто.

Я знаю: пьют весенний сок,
надрезав бок берёзы.
Пьют спирт, не брезгуют росой,
проглатывают слёзы.

Но как из этих блюд простых
создать такое варево,
чтоб даже при смерти на «ты»
мне с жизнью разговаривать?

Современная калининградская литература

Солнечный удар

pictorica

Сделано в «Пикторике»

Арт-директор — Макс Попов
Дизайн, вёрстка — Василий Дриго
Фотографии — Артём Зайцев, Александр Любин, Варвара Дурцова, Егор Сачко, Людмила Степнова, Владимир Харченко, Виктор Гусейнов
Фотография на обложке — Юлия Евдокимова
Менеджер производства — Мажена Вилкаускине

www.pictorica.ru

ISBN 978-5-903920-13-6

9 785903 920136

Подписано в печать 30.09.2011. Формат 185×245 мм
Бумага *Munken Print Cream*. Гарнитуры ПТ Санс и ПТ Сериф.
Печать офсетная. Тираж — 500 экз.

Калининградский областной музей янтаря
236016, г. Калининград, пл. Маршала Василевского, 1.
www.ambermuseum.ru

ISBN 978-5-903920-13-6

Сделано в «Пиктории»